

БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 49

1986



Олесь ГОНЧАР

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

ЧЕРНЫЙ ЯР

Олесь ГОНЧАР

ЧЕРНЫЙ ЯР

Рассказы

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1986

Олесь ГОНЧАР

Олесь Гончар (Александр Терентьевич Гончар) родился 3 апреля 1918 года на Полтавщине. Осенью 1938 года поступил на филологический факультет Харьковского государственного университета. В июне 1941 года в составе студенческого добровольческого батальона ушел на фронт. Был дважды ранен; награжден орденами Славы, Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу», «За оборону Киева».

После демобилизации в 1946 году закончил Днепропетровский государственный университет.

В 1946—1948 годах опубликовал трилогию «Знаменосцы». В последующие годы вышли книги рассказов и повестей, а также романы: «Таврия» (1952), «Перекоп» (1957), «Человек и оружие» (1960), «Тронка» (1963), «Собор» (1968), «Циклон» (1970), «Берег любви» (1976), «Твоя зоря» (1980).

В течение 12 лет (1959—1971) Олесь Гончар возглавлял Союз писателей Украины; в настоящее время входит в состав Секретариата Союза писателей СССР.

Кандидат в члены ЦК КПСС, член ЦК компартии Украины. Депутат Верховного Совета СССР. Академик АН Украинской ССР. Лауреат Шевченковской, Государственных и Ленинской премий. Герой Социалистического Труда.

Книги О. Гончара переведены на многие языки.

АРТЕМЕНКО С ПЛАЦДАРМА

Из всех форсированных рек этот Грон оказался рубежом самым грозным, таким, что не забыть его до конца дней. Ранними утрами накатывались туманы, сплошной сивой облачностью затягивали топкие, еще не совсем оттаявшие после зимы поля вблизи Барта и Камендина — так назывались населенные пункты, которые нам надо было удерживать. Ежедневно туманы, еженощно грязь, а из нависших низко над плацдармом туч льют холодные, какие-то словно бы черные дожди. Туманом съедало остатки снега, его становилось все меньше на полях, талые воды, подступая к нашим позициям, заливали блиндажи, траншеи, огневые, затапливали выкопанные в полный рост окопы. И ничем положение нельзя было изменить — солдату приходилось днем и ночью стоять в ледяной воде, в глиняной мути, держать свою частичку плацдарма среди этих коварных, с каждым часом незаметно прибывающих весенних вод.

Вместе с другими стоит в окопной воде и земляк мой, Иван Артеменко, хлопец из наших степей, его не тяготят мысли о будущих ревматизмах, беспокоящие кое-кого из пожилых бойцов, у него в мыслях совсем иное:

— Весна идет, братцы!.. Весна-красна, как говорили у нас дома...

Родом Артеменко из тех мест, где человека обнимают «лазоревые просторы» (его выражение), где степями протекает Калка, упоминаемая в летописях речка, выдавшая одну из кровопролитнейших битв истории. Это же ведь там, на Калке, дружины Мстислава Удалого и Даниила Галицкого когда-то столкнулись в тяжком поединке с хищными ватагами первых чингисхановских орд. Не раз слышали мы рассказы нашего друга о далекой речке его детства, которая в седую древность «аж закипала», «аж из берегов выходила», когда несметная ордынская конница бросалась по ней вплавь, а в наши дни эта же речушка тихо течет среди степного разнотравья, маня летом совхозную детвору своими пусть и неглубокими, но чистыми и ласковыми водами.

— Летом почти не видно нашей Калки, — волнуясь, рассказывал нам Артеменко. — Где-то там ворошится она по дну балки, меж огромных лопухов и чертополоха, с обоих берегов нависающих над нею... Но ведь живучая какая! Другие степные речки, вот, скажем, Берда, которая в античные времена была такой полноводной, что и греческие корабли заходили, теперь уже почти исчезла, в соседних балках речки тоже повысыхали, только наша все еще ворошится, слезится между лопухами... Чем объяснить? Видно, питают ее сильные подземные роднички.

Слушаем его и до осязаемости зримо представляем себе ту светленькую исчезающую речушку, которая где-то там вьется, течет и течет среди степной духоты, среди степной полыни да чертополохов и вроде обдает нас полуденным зноем далекого лета с его звенящей тишиной. А тут, в окопах, ноги наши стынут, немеют в ледяной жижице, которая кажется нам куда холоднее снега.

— Была зима — настали отзимки, леший бы их забрал, — слышим мы порой незлобивое ворчание командира роты. — Где вчера снежок белел, сегодня вон уже ползет ручей-водорой...

Разбухшие от воды окопы обваливаются. Каждый из нас по уши в грязи, ждем не дождемся, когда настанет час подмены и мы со всеми предосторожностями выберемся ночью отсюда, чтобы где-то там, в Камендине, в теплой мадьярской хате отогреть свои заочневшие души, привести себя в более или менее цивилизованный вид.

Пожалуй, никто, кроме солдата, не способен так прочувствовать и оценить прелесть самых обыденных вещей, заполняющих человеческое бытие. Вспомните, какую радость вы испытывали, переступив порог чьей-нибудь хаты, ощутив дыхание человеческого жилья, его устоявшееся тепло, где повеет на вас уютом и надежностью домашнего очага, где молчаливый усатый хозяин и его приветливая хозяйка сочувственно встретят вас, насквозь прозябших, смертельно уставших, а хозяйская дочка Пырошка зорким своим глазком выделит из всей вашей гурьбы вот этого чернобрового Ваню Артеменко, который уже широко улыбается ей навстречу. Только хлопец одарит ее взглядом, девушка так и вспыхнет своими тугими щечками, и хоть, казалось бы, должна она в этот момент смутиться, опустить застенчиво глаза, но, видимо, сделать это ей не под силу, она и дальше смотрит на него неотрывно. И с этой минуты мы станем ощущать присутствие в доме человеческого счастья, оно будет царить в самом воздухе, сиять в блеске юных глаз, в целомудренной стыдливости — ее, в какой-то приподнятой веселости — его.

Разве не трогательно было наблюдать, как Пырошка, пригостившись на скамье, держит зеркальце перед Иваном, держит со счастливой терпеливостью, а он тем временем водит бритвой по своей покрытой серым пухом щеке, видимо, никем еще не целованной. После бритья лицо сразу становится чистым, и сам хлопец при этом как бы

светлеет. Отец и мать Пйрошки тоже порой поглядывают то на дочку, то на того, вокруг которого она вьется. И не раз, верно, подумается хозяевам дома, что вот такой юноша мог бы и зятем быть, если бы не война с ее нечеловеческой жестокостью, которая вот таких славных, совсем молоденьких чьих-то сыновей забирает на свои тяжкие испытания. А потом, когда хлопец возьмется пришивать пуговицу к гимнастерке, то и Пйрошка, склонившись возле него, что-то там советует, видимо, объясняет, как лучше это сделать, а когда он подшивает подворотничок и выходит это у него, как ей кажется, несколько криво, то девушка забирает из его рук шитье и сама уже своими проворными пальчиками завершает работу быстро и ладно.

Глядя на эту юную пару, склоненную челом к челу над своим шитьем любви, не одному из нас, еще вчера месившему своей кирзой те постылые, залитые ледяной грязью траншеи, припомнится со щемящей болью в душе и своё что-то далекое, недостижимое ныне, но такое желанное, самое дорогое в жизни. Сверкая иглой, пальцы Пйрошки время от времени касаются его пальцев, касаются словно бы совершенно случайно, невзначай, повторяется это и потом, когда они оба, устроившись на скамеечках возле печи, чистят вместе картошку. Снова тогда видно будет, как руки их, сблизившись, чуть коснувшись одна другой, мигом разлетаются, будто ударенные током. Лица у обоих все время будут пылать, глаза будут лучиться, и это, возможно, и являлось нам то редкостное мгновение, когда человеческое лицо предстает перед тобой в сиянии красоты, в ореоле счастья.

— Иван... Вайя... Иванко... — заучивает она его имя и влюбленно поднимает на Артеменко свое большеглазое ангельское личико.

Чистить картошку, то бишь на языке хозяев «крумпли пуцолить», — это для нас потом и в окопах станет как бы шутливым паролем; время от времени то один, то другой из окопников, скрючившись от холода, мечтательно проронит соседям:

— Когда же снова нам выпадет «крумпли пуцолить»? . .

И при этом, лукаво прищурясь, глянет на Артеменко, а тот ответит шутнику взглядом, полным грусти и признательности.

Но это потом, когда снова будем в окопах, пока же в этой уютной мадьярской хате просто идиллия. После ужина хлопцы, уже побритые и словно бы помолодевшие, вольно расстегнув чистые воротники гимнастерок, негромко затягивают возле печи свои домашние песни, а юная пара в это время у стола, склонившись голова к голове, отстраненная ото всех, нашла себе какое-то иное, милое сердцу занятие. Девушка, разложив лист бумаги и водя по нему карандашом, пытается что-то втолковать нашему другу, всякий раз слышится отсюда ее страстное, взволнованное «тудом?» «нем тудом?» (понимаешь? не понимаешь?), потом карандаш очутится у Артеменко в руке, и теперь уже он начнет что-то живо рисовать на бумаге, показывая нарисованное Пйрошке:

— Ясно?

Если там появятся из-под карандаша деревья с кудрявыми кронами, то надо понимать, что это колхозный сад, первые кварталы которого Иван вместе с отцом высаживал перед войной, а когда протянется тонюсенькая жилка на бумаге, то так и знайте, что это струится в степи его историческая речушка, которую он как бы дарит сейчас Пирошке:

— Это вот тебе красунечка наша степная. . .

Представляем и мы ее, то еле заметную, то полноводную, давнишнюю, где вся она «меж берегов от конницы аж кипит»!

— Тудом, тудом, ка-ра-шо! — щебечет девушка возле него, всякий раз наново расцветая. Тудом — то есть поняла, сообразила, чем Иван занимался в жизни довоенной, чем и сейчас живет в своих мечтах. С полунамека схватывает Пирошка быстрым глазком суть его рисований, и им обоим так радостно становится, что найден общий язык, — никому, пожалуй, не удастся так быстро и безошибочно достичь взаимопонимания, как влюбленным!

В счастливой отрешенности заняты они у стола своим рисованием, пребывают оба совершенно вне времени, ибо время, как известно, для влюбленных перестает существовать. Однако грозный, наполненный ночным ветром и мраком простор за окном — он от этого не исчезает, глухие, отдаленные гулы плацдарма — они не забывают о нас, и вот наступает уже минута, когда, будто посланец ненастья и тьмы, вбегает в хату взможкий связист, он скажет нам то, что требуется сказать, и на полуслове оборвется недопетая песня, все мы тут же подхватываемся, Иван, мигом отпрянув от стола, привычно набрасывает на плечи просушенную шинель, крепко затягивается ремнем, а Пирошка, испуганно замерев в углу, расширенными от ужаса глазами следит за каждым его движением.

Прощай, хата, теплая, приветливая!

С порога ныряем в темноту, в мокрядь, ветер, под низкое, тяжелое небо плацдарма.

Девушка, выбежав вдогонку, встревоженная, стоит на веранде, длинную сборчатую юбочку ее треплет ветер, в тонкой, как стебелек, фигурке девушки в этот момент есть что-то горестное, незащитное. Артеменко, оглянувшись, уже со двора, от колодца с журавлем, крикнет взволнованно, с болью в голосе:

— Иди уже, Пирошка, иди!

То есть в хату возвращайся, чтобы не простудилась, и знай, что жить теперь хлопец будет ожиданием следующей встречи.

Горбясь от ветра и дождя, все дальше топчем своей кирзой ночную грязь, все дальше уходим в поля, направляясь к переднему краю, где небо становится ниже и ниже, а тьма беспроглядней. Там, коченея в ледяной окопной воде, ждут нашей подмены товарищи.

А днем на плацдарме сравнительно тихо, он словно безлюдный,

пустынный. Однако Артеменко знает, что вся эта тишина и безлюдье обманчивы, потому что если батареи — то они где-то меж холмами, в складках местности, а если люди — то по окопам, траншеям, блиндажам. Полки трех гвардейских дивизий зарылись тут по окружности в землю, тысячи глаз из-за брустверов день и ночь караулят нейтральную зону, в глубине души надеясь, что, может быть, здесь, в раскисших этих полях, и война stokлтая для них закончится, может, случится даже так, что плацдарм этот станет завершающим, и выстрел последний на земле прозвучит именно здесь, на плацдарме, после чего наступит тишина святая, всепланетная. . .

С добрыми предчувствиями выглядывает утром Артеменко из окопа, увидит за полями знакомый, с темной кирхой Камендин, где осталась Пирошка, чья улыбка светит ему и сюда...

А еще дальше, за рекой, горы хмурят гранитные лбы, поглядывая в сторону плацдарма; скалистые вершины кое-где еще пестреют плащ-накидками последнего, от туманов посеревшего снега. Авиации нет — низких сумрачных туч «юнкерсами» не пробить. Изредка среди полей снаряд взорвется. Клубок дыма появится, и тотчас же ветер сдует тот дикий ничейный чертополох войны.

От села кто-то бесстрашно поехал в глубь плацдарма на измененных своих лошаденках, в санях поехал, хотя на дороге там сейчас больше грязи, чем снега. О, если бы и впрямь здесь последний для вас выстрел прозвучал! Вмиг покрылись бы цветами все эти горы, а уставшие после бессонных ночей гвардейцы, поднявшись из своих раскисших, осточертевших окопищ, как ангелы, вознеслись бы в голубые небесные сферы, чтобы там, оказавшись в недостижимости, наконец-то выспаться на белых пуховиках облаков! . .

Пирошка, она сейчас была словно бы рядом с нашим Ваней Артеменко, владела его мыслями, согревала парня своими улыбками в его окопных студеных ночах. Вот уж кого одарил счастьем этот плацдарм! Разве мог юноша предчувствовать, где и кого полюбит, разве мог знать, что счастье явится ему за темным этим Гроном, так непохожим на его степную Калку. В далеком краю, в чужестранном селе, где кучи ящиков с боеприпасами по дворам, где звучат в хатах шутки гвардейские да звенит волнующий смех молодых мадярок, встретит и его душа свою первую любовь. Впрочем, предчувствие чего-то необычайного Артеменко и прежде носил в себе, и вот оно произошло. Сам не заметил, как зародилось чувство, затеплилась его любовь, ибо разве не так называется эта его постоянная приподнятость, счастливая наполненность души, состояние, в котором он на плацдарме все время пребывает? Да, благодаря этому чувству он стал будто сильнее, легче ему стало преодолевать все невзгоды и опасности плацдарма.

В самом деле, что для Артеменко сейчас все эти опасности и эти мертвые ракеты ночами над нейтральной, и холодище да грязь

окопные. . . Ведь все это не вечно, ведь потерпи, сколько надо, и снова дадут подмену, и ты, пусть грязный, измороженный, снова после переднего края появишься там, где на пороге тебя встретит зардевшаяся, сияющая Пырошка.

Ничто на плацдарме будто и не предвещало нам беды. Углублялись в землю, обустранивались, как для длительного проживания, привыкая к однообразию окопных будней. И лишь изредка, ночами, во влажной кромешной тьме за нейтральной, особенно когда ветер был оттуда, становились нам слышны странные какие-то гулы, о причине которых плацдарм узнает значительно позже: это там, за морем темноты и под ее прикрытием, разгружались на крупной железнодорожной станции вражеские войска, срочно перебрасываемые фашистским командованием из своего западного фронта, из Арденн. За поражения на других фронтах враг решил взять реванш здесь и поэтому гнал и гнал сюда, к нашему плацдарму, свои отборные бронированные части.

И вот однажды на рассвете полезли на нас из тумана армады «тигров» и «пантер». Из каждой ложины нескончаемо ползли и ползли ревушие, смрадные эти чудища, круша с ходу наши окопы, взламывая блиндажи, шквалом огня накрывая все живое.

Несколько танков удалось поджечь, но вместо них из тумана, из-за каждого холма, выползали все новые, утюжили окопы, вздыбливаясь, наваливаясь на блиндажи, стоны и крики раненых тонули в грохотах пальбы. Уже в первые минуты боя были порваны линии связи, артиллеристы, держась до последнего, били по наползающим танкам прямой наводкой, «тигры» вспыхивали тут и там среди раскидших полей — весь плацдарм стал вскоре сплошным ревом, туманом и дымом — всеохватным черным клубищем, которое во всех направлениях пронзали молнии огненных залпов, отчетливо видимых даже в тумане. Загудело — загрохотало на рассвете, и беспрестанно гудело дальше, земля плацдарма содрогалась, горела от края до края, и казалось, не будет конца этому побоищу, этой расправе над плацдармом.

Нет большего ужаса, чем видеть, как стальные гусеницы на глазах перемалывают раненых, исходящих криком людей. Тот, чью речь ты только что слышал, чья улыбка или даже шутка только что тебя подбадривала, в какой-то миг становится кровавым месивом в изрытой грязище среди разваленных траншей. Тылов больше не существовало, всюду был только передний край — от пехотинских, превращенных в черторей окопов, от командных пунктов и огневых позиций батарей до самого Грона, до его насквозь простреливаемой переправы громахала сплошная, неутихающая битва. Очаги сопротивления в одном месте угасали, в другом возникали вновь, в единоборство с танками вступали пехотинцы, артиллеристы, минометчики, штабники, к вечеру ожесточенные схватки вспыхивали уже на подворьях Барта и Камендина, куда со всех полей стекались те, кого еще не растерзали

танки, оба населенных пункта к ночи уже были охвачены пожарами, здесь враг потерял танков и бронетранспортеров больше всего: ведь среди кирпичных построек можно было долго защищаться, к тому же полные ящики патронов и гранат кучами лежали по дворам — бери сколько хочешь — и в бой, в бой.

Местное население, спасаясь, перебралось в бункера, всеми семьями люди попрятались в погребах, и лишь из одного окна, уже выбитого взрывом, то и дело выглядывала смертельно бледная, крайне встревоженная Пирошка, которой хоть мельком, а все же удалось увидеть, как перебегает по двору еле узнанный ею при свете пожара Иван Артеменко с гранатами в обеих руках, бежит и не замечает никого и ничего, даже собственной крови на рукаве, потому что тут для солдата существует только цель, в виде грязного транспорта выползающая из-за соседнего угла...

Для каждого, кому суждено было выжить, пекло плацдарма запомнится как нечто безмерно жуткое, самое ужасное из всех кошмаров войны.

А после всего те, что остались, спят под скалой в мокрых шинелях, обняв винтовки. В смертельной усталости попадали тут, куда снарядами уже не достать. А когда проснутся, безмолвно обменяются взглядами, как бы не веря, что живы. И каждый затаит в себе чувство вины за утраченный плацдарм, как будто именно он виноват, что трагедия произошла, что стольким довелось пасть, не дойдя до желанного дня победы, так близко будучи от нее. Угрюмо смолят махорку под скалами, и разговаривать не хочется, и собственная жизнь для каждого будто потеряла вкус. Если изредка и перебросятся между собой словом, то разве лишь о том, кто кого видел в последний раз и при каких обстоятельствах, кому крикнул что-то раненый друг из саней, когда его вместе с другими везли к переправе и когда, подбежав к нему, смертельно раненному в живот, уже обреченному, ты еще встретил устремленные на тебя его глаза, неузнаваемо ясные, налитые слезой прощания.

Все мы на том плацдарме были на бегу, на лету, ощущение времени сместилось, будто на другой планете, даже и не сказать, сколько все это длилось и перевел ли ты хоть раз дыхание, прежде чем снова бросаться туда, где тебя ждал бой дневной, бой ночной, бой бесконечный, может, последний...

Несколько дней теснились под скалами, собираясь остатками подразделений, понемногу приходя в себя.

А где же Артеменко? Где он? Что с ним? Кто расскажет нам о нашем общем любимце, об одном из тех многочисленных, что пропали без вести на плацдарме?

Не было его среди нас, лишь нашелся один из соседней роты, который видел Ивана Артеменко во время боя с бронетранспортерами в Камендине, и комбат наш будто бы видел его сражающимся.

Говорилось, что отличился там хлопец своим бесстрашием, в состоянии боевого неистовства бросался с гранатами, казалось, на видимую и неминуемую смерть, а чем это для него кончилось, так никто и не мог в точности сказать. Артеменко сейчас словно вырастал в наших глазах, всем нам вспоминалось, как он переменялся, когда явилась ему любовь на плацдарме, теперь уже и вопросов не возникало, чем он, не такой уж и красавец, приглянулся той милой мадьярской девушке. Своей поэтической душой, чистой и непорочной, пленил ее, своими добрыми глазами, которые и для всех нас на плацдарме лучились такой неодолимой, веселой силой жизни.

А после трех суток Артеменко явился. Голова перебинтована и левая рука на перевязи, где-то успели оказать ему помощь, и хоть лицом осунулся, в глазах — дерзкое озорство человека, проверившего себя в тягчайших испытаниях.

Довольно спокойно выслушал Артеменко слова комбата о том, что за бой на плацдарме его представили к ордену Славы, а вот разрешение командира остаться в строю вместо того, чтобы идти в медсанбат, друг наш воспринял почти как награду. Так и приспособился: пойдет, сделают ему перевязку, и снова хлопец к нам, в свою минометную, столь сильно поредевшую на плацдарме. Если поинтересуется кто его ранением, отвечает шуткой:

— До свадьбы заживет.

А первая перевязка, оказывается, сделана была ему кем бы вы думали? Она, Пырошка, собственными руками перевязала его, считай, даже жизнь ему спасла, укрыв раненного в погребке, а потом сама же и вывела ночью на край Камендина, показав, как ближе ему пробраться к Грону... И больше всего Артеменко сейчас беспокоило, удалось ли ей вернуться домой незамеченной, не попала ли она в руки тем пьяным, озверелым салашистам, что кувалдами добивали возле кузницы наших раненых. Ведь узнай они, кого девушка спасала, пощады бы ей не было. Сидя под скалой, Артеменко, бывало, подолгу глядел на Камендин, который как-то зловеще затаился за Гроном, выделяясь пятнами своих красноватых черепичных крыш и островерхой кирхой посреди села. Прикипев к нему взглядом, словно ждал хлопец чьего-то появления оттуда, словно вот-вот должен был всплыть над крышами образ той, которая была теперь для него единственной, не заменимой никем.

Не погуб там, где трижды мог погибнуть; сто бед пережил, выскользнул из самого пекла, где, уже и раненный, сражался один на один с теми наползающими бронетранспортерами. Разве же не чудо? И не уверуешь разве после этого, что, может, и самая смерть от тебя отводила чья-то бесконечно дорогая тебе рука?..

Пожалуй, воистину целительными были для горячих Артеменковых ран те первые перевязки, сделанные ласковыми руками любимой, ибо на удивление быстро раны его заживали, вскорости он был

в состоянии наравне со всеми выполнять свои воинские обязанности, еще сильнее уверовав, что отныне ему жить и жить.

И можно вообразить, какое чувство охватило Артеменко, когда после адской мясорубки плацдарма, после крайнего напряжения дальнейших наших переходов в скалистых горах, с их постоянной хмуростью, с их ветрами и бурями, с какими-то не по-весеннему студеными, словно бы и впрямь черными дождями, наконец в один из дней выглянуло солнце, и потеплело враз, и глазам открылось белопенное половодье цветущих в долинах словацких садов! Расцвела, казалось, вся земля, белели все долины и склоны, и даже вдоль дорог всюду встречали нас просвеченные солнцем, до самых верхушек облитые цветом черешни.

— Это же и там, в Камендине, все зацвело,— слышали мы взволнованное от Ивана.

И ясно было, что думалось ему в эти минуты о Пирошке, не раз и вслух мечталось парню, как вот закончится вскоре война и он каким-то дивом-чудом окажется там, где осталась его возлюбленная, и, взявшись за руки, не спеша пойдут они в глубь своего весеннего райского сада...

Войска двигались вперед почти без выстрелов, какое-то непривычное затишье сопровождало нас на маршах, известно было, что и тот наш кровавый плацдарм вскоре стал могилой для врага — он был взят там в кольцо и уничтожен начисто. Так что всем нам в эти дни вздохнулось 'облегченно, мы почувствовали себя людьми, которым отныне дарована жизнь, и, казалось, цветущая эта весна будет теперь длиться для нас вечно.

Но в одну из ночей снова пришлось нам долбить кирками камни под склоном горы, устраивать огневую среди фруктовых деревьев, которые сейчас были не объектом для любований, а скорее мешали минометным расчетам своими разлапистыми ветвями. После ночи, на рассвете, увидели мы, где находимся. В садах очутились, среди расцветших персиков, где нежные бело-розовые соцветия почти касались наших лиц. А когда приходилось открывать огонь, то после каждого залпа лепестки осыпались прямо на раскаленные стволы минометов.

Потом был артналет бешеной силы, был шквал дико воющего металла. На наших глазах черным огнем ломало, уродовало цветущие деревья, и от снарядных ударов содрогались граниты всего предгорья. Удар, удар — и так без конца.

Навсегда остался Иван Артеменко в том саду. Какие-то минуты после налета он еще жил, и когда мы стояли, склонившись над ним, явственно слышно было, как губы его, бледнея, в изнеможении повторяли одно только слово:

— Пирошка... Пирошка...

Лицо его, на которое мадьярская девушка так влюбленно

заглядывалась на плацдарме, чистое, спокойное, это лицо сейчас вроде линяло, становилось серым, быстро менялось на глазах, росинки пота на лбу блестя застыло, а глаза, что так весело лучились нам на маршах, полные юношеского блеска и жизни, теперь уже ничего не замечали: ни товарищей, ни изувеченных снарядами деревьев, ни неба над ними, по-весеннему высокого, — в молодых этих глазах уже всплывала тоска угасания, тоска неотвратимая, последняя.

Человеку всегда тяжело расставаться с жизнью, но во сто крат тяжелее это расставание для души молодой, ненажившейся, когда дыхание обрывается столь безвременно и свет для тебя гаснет именно тогда, когда ждет тебя где-то любовь.

Через много лет выпало мне побывать в родных краях моего товарища, у его степной Калки. Речушка оказалась именно такой, какой и возникала перед нами из Артеменковых рассказов, предстала, собственно, ручейком, который поблескивал по дну степной балки, почти теряясь среди нависших с берегов лопухов и чертополоха. Млел знойной духотой день, разогретые травы, чабрецы встречали нас терпким прадавным духом всюду, где мы медленно шли с Артеменко-старшим, тоже фронтовиком. Затаив глубоко свою боль, он почти придиричливо, во всех подробностях расспрашивал о сыне: когда мы с ним подружились, где были вместе, но больше всего хотел знать, как отличился сын на плацдарме и что это за девушка была, о которой Иван писал ему в одном из последних писем. Пришлось рассказать, какая это и вправду славная была девушка и как уже потом, после Победы, когда эшелоны наши один за другим отправлялись с Балатона домой, в последний момент на перроне появилась среди провожающих юная девичья фигурка в сборчатой юбчонке и кто-то дернул меня за плечо:

— Гляди, Пирошка!..

Она быстро, почти бегом шла вдоль эшелона, который уже тронулся, жадно, с надеждой заглядывала в настезь открытые, переполненные бойцами вагоны, а глаза были такие беспокойные, ищущие...

Мы окликнули:

— Пирошка!

Она узнала нас и на бегу заговорила страстно, по-своему. И нам нетрудно было догадаться, кого она ищет: где он? Здесь ли он, Иванко с плацдарма?

Эшелон набирал скорость, а девушка все бежала и бежала, пока фигурка ее не затерялась среди толпы провожающих.

Артеменко-старший слушал, ничем не выказывая состояния своей души, несколько раз переспрашивал о том артналете, когда среди весенних деревьев оборвалась жизнь его сына.

Потом мы ехали на «газике» мимо каких-то каменистых холмов, где по склону среди трав, выпячиваясь, сверкали огромные граниты, и отец моего товарища пояснял, что это места заповедные, называются они Каменные Могилы и что отсюда, собственно, уже берет начало Донецкий кряж. В свете фар возникала время от времени трава какая-то необычно высокая, может, потому, что целинная, или потому, что была это трава ночная.

— Там множество видов,— говорил Артеменко-старший.— Нигде, пожалуй, на земле не осталось такого богатства флоры...

Уже при звездах показывал мне сад, который они когда-то вместе с сыном закладывали. Прямо из степи въехали мы в аллею плодовых деревьев, им, казалось, не будет конца. Все новые и новые возникали кварталы кальвильей, симиринок, джонатанов, ветвистые деревья гнулись под тяжестью плодов. Зашла между нами речь о Льве Платоновиче Симиренке, отце украинского садоводства,— с трудами его Артеменко-младший, оказывается, не разлучался, когда учился в техникуме садоводства. Его «Помология», по словам отца, возможно, и определила тогда Иванов жизненный выбор.

— Да если ж бы не война... — слышу тихое, вымолвленное сквозь сдержанную боль.

Машина остановилась посреди сада, где колодец с журавлем, как на подворье у Пирошки в Камендине. Вода глубоко, и звезды поблескивают в ней. Деревья стоят тихие, в задумчивости, небесный звездный плацдарм проглядывает к нам сквозь верхушки крон. Где-то поблизости журчит-булькает садовый арычок голосом детским, голосом жизни.

Слушаем этот мир, ночной, бесшумный, а мысли наши сейчас о нем, о нем, кому суждено было остаться далеко, в иных садах, сохранив там юность свою навечно.

ГЕНИЙ В ОБМОТКАХ

Космонавт уже с первого знакомства поразил нас своей удивительной способностью мгновенно погружаться в сон. Мог он это делать даже по заказу, чтобы развлечь нас и в то же время показать свою исключительную натренированность. Вот мы в ожидании рейса сидим в просторной комнате аэропорта, космонавт наш веселит делегацию свежими анекдотами, и вдруг в какой-то единый миг он, видим, отключился из этой реальности, стриженная ежиком голова его склонилась на плечо, глаза закрылись, и звездный брат наш уже ровно, глубоко дышит, даже посапывает, с наслаждением отдавшись во власть Морфея.

Мы смотрим на него, как на чудо небесное, перед нами вроде бы

свершается некий космический фокус. Не сводя с него глаз, обмениваемся репликами:

— С ходу парень окунулся в райские сны.

— Вряд ли в райские... Иначе почему же он хмурится?

— Это же надо, чтобы так вдруг уснуть!

— Рефлекс сработал, — авторитетно говорит дама, доктор наук, тоже член нашей делегации. — Притом сработал безотказно!

Проходят какие-то минуты (видимо, как раз то время, насколько он запрограммировал свой сон), и будущий попутчик наш уже встрепетул, юношеское лицо озарилось смущенной улыбкой, в щелочках глаз ожила искорка ума, острого, веселого. Пригладил рукой свой русый ежик и — без особой подготовки:

— А то был у нас на охоте еще такой случай...

И вьется виток новой историйки, похожей на анекдот.

Мы летим далеко, под нами долго будет тянуться темная бездна — ночной океан. Он для нас скорее ощутим, чем заметен в мерцающем свете, идущем от звезд; и хотя в салоне комфорт, однако мы в течение всего полета подсознательно будем чувствовать: под нами — океан...

Когда стюардесса, приняв чуть кокетливую позу, начинает демонстрировать на себе спасательное снаряжение, с заученной ласковостью в голосе объясняет, как следует с ним обращаться в случае вынужденного приводнения, взгляд ее чаще всего обращен на космонавта, хотя ей и невдомек, кто он, для нее он, видимо, просто один из пассажиров этого салона — симпатичный, несколько необычно стриженный молодой человек, который, внимательно следя за ее движениями и все время щурясь веселыми щелчками глаз, иногда с любопытством переспрашивает по-английски, каково назначение вот той лямки или вот той кнопки. Ситуация несколько комическая, если учесть, что перед стюардессой человек, который имел дело с куда более сложными лямками да кнопками, однако для большинства пассажиров (и для стюардессы, разумеется) он только старательный ученик, желающий все до мелочей усвоить в тех ее мудреных спасательных устройствах. Вряд ли наше племя пассажиров с первого раза смогло толком разобраться, что к чему в той спасательной амуниции, объяснения девушки сопровождаются шутками с кресел, ироническими замечаниями, хотя тайком кое-кто, пожалуй, и содрогнулся перед перспективой вынужденного приводнения среди ночного океана, среди его бушующих ледяных волн.

После сеанса объяснений космонавт снова погружается в свой запрограммированный сон, а проснувшись, зевнул и спросил меня, слегка тронув плечом, поскольку мы сидим рядом:

— Ну как он там, океан, на месте?

Сам же не стал наклоняться к иллюминатору. На мой вопрос, как вздремнулось, смущенно отвечает, что он вообще любитель подавить подушку, сознает свою слабость.

- А на орбите поспать удавалось?
- Не больше, чем разрешалось расписанием... Выдерживал норму.
- И сны приходилось видеть?
- Разумеется.
- Какие же они, космические сны? Чем-то особенные?
- Земные все... Сугубо земные. И никаких иных.
- Можно позавидовать вам. Вот уж насмотрелись на Землю со стороны.
- На нее насмотреться невозможно. Каждый раз иная... И всегда — прекрасна.

Он умолкает, будто невзначай коснулся чего-то запретного, слишком интимного. Спустя некоторое время щелочки глаз его снова веселеют, еще одна забавная история вспомнилась... Оказывается, он охотник, да еще заядлый, любит края, где дичи уйма, а поскольку его родной дядя работает охранником в энном заповеднике, то можете представить, какое это искушение, когда тебя зовут: приезжай да приезжай, племянничек, рыбки на озерах половим, на зорьке посидим...

— Дядя Леонтий Иванович у меня человек строгих правил, можно сказать, рыцарь своего дела... Вечно воюет с нарушителями, которые, он считает, все больше наглеют. Искатели развлечений, балбесы городские, целыми компаниями наваливаются они в заповедник, оставляя потом после себя кучи битых бутылок да целые снопы почерневших увядших лилий на месте своих варварских стоянок. Странная публика: ведь понимают, что лилию сорви, она тут же увянет, однако с корнями выдергивают, даже заповедные озера опустошают.

— А их возлюбленные, между прочим, охотно принимают эти варварские дары, чтобы тут же выбросить...

— Вот именно. Ни стыда, ни совести. Подобных типов Леонтий Иванович называет неандертальцами, не иначе. А чтобы припугнуть их, даже мою персону пускает в ход, придет, дескать, в отпуск племянш-космонавт, он задаст вам, неандертальцам, вы у него попляшете, раскосматые... И вот однажды является этот племянш. Представляете, какими глазами мой честнейший дядя взглянул на своего родственничка, когда сей юноша возник перед ним с двухствольным дареным своим «Зауэром» да целой котомкой патронов к нему. Ничего себе гость, вот как приготовился к встрече с пернатыми заповедными своими друзьями... А их как раз целые стаи над нами, все небо лопочет крыльями... Вспугнутые кем-то, улетают подальше, надеясь, видимо, найти места поспокойнее на других озерах... «Неужели и ты с ними заодно, с теми, что за рекой учинили пальбу?» — взглянув исподлобья на мой пижонский «Зауэр», то ли спросил, то ли подумал дядя Леонтий, но факт, что со стыда я готов

был сквозь землю провалиться. В самом деле, неужто я такой, как те зареченские браконьеры с лицензиями и без лицензий? Те, что и открыты завтрашнего не дождавшись, уже подняли канонаду? Нет, разумею его, а еще больше себя, я не такой, по крайней мере не хочу быть таким!.. А по Леонтию-то Ивановичу вижу — не верит он мне, говори, мол, разговаривай, знаем вас... Сорбиты, с небес, а тоже туда... Кажется, только и поверил он в благие намерения своего племянника, когда родственничек вдруг остановился у озера и, крепко поразмыслив, с обрыва зафутболил подальше весь свой зауэровский боезапас! И хотя хвалы от дяди не воследовало, однако глаза его потептели, и мы сразу вроде бы стали роднее друг другу. И впрямь почувствовали себя близкими родственниками, когда молча смотрели, как в том месте, где комплект патронов ушел ко дну, снова появляются на воде листья кувшинок, обретая прежнее положение.

— Удачно поохотились, — говорю, и космонавт улыбается моей шутке.

— А между прочим, не жалею, — замечает он после паузы. — Ведь если подумать, до черта развелось уже нашего брата — любителя все живое брать на прицел... Читал на днях: сорок тысяч охотничьих ружей лишь на одну область. И каждый норовит вернуться домой с добычей... А моторных лодок сколько? Леонтий Иванович мой полагает, что от них зла больше всего. Глушат рыбу, разрушают берега, в выходной на реке — грохот стоит сатанинский, солярка, мазут на воде, тучи дыма в воздухе, — загазованность выше всех дозволенных норм... А собственно, какая нужда? Почему непременно моторка? Хочешь прогуляться — садись на весла и айдя, наращивай мускулатуру... Так нет же, катер ему подавай да еще быстроходный!

— Чтобы рыбинспектор не догнал...

— Вот именно. На берегу женщины с ребятишками, ткачихи после цеха выбрались наконец-то на природу, а он промчал, нагрохотал, надымил, ну и дышит... Главное, чтобы мне было хорошо, а вам... Диву даешься, как часто мы становимся рабами собственного эгоизма. Неужели так неисправима природа людская?

Космонавт, откинувшись к спинке кресла, клонит голову то ли в дреме, то ли в задумчивости. Я невольно разглядываю упрямое его чело, коротко стриженный чубчик, меня в этом человеке интересует буквально все. Ведь ему выпало испытать то, что недоступно нам, простым смертным. Он работал на орбитальных трассах, попадая в неизвестные нам ситуации, находился в невесомости, видел планету в красках неземных. Впрочем, когда я после паузы спрашиваю, как оно человеку там, на орбите, сосед мой уклоняется от ответа: видимо, подобные расспросы порядком ему надоели.

— Всего не объяснишь, — говорит он спустя некоторое время. — И любопытство ближних не всегда отвечает настроению, вы не обижайтесь... Когда, бывало, сидим у костра с Леонтием Ивановичем

в его заповедных владениях, о чем бы ни шла речь, а дорогой мой дядюшка нет-нет, и опять за свое: ну как все-таки, племянш, было тебе в той зыбке. Видать ли нас оттуда, с орбиты?

— А в самом деле, видно ли? — интересуюсь и я.

— Дядю Леонтия, стража нашего заповедного, конечно, разглядеть не удавалось, — шутит космонавт, — хотя личность и яркая... Не было возможности зафиксировать и нашествие неукротимых его неандертальцев, с которыми он ведет свою тридцатилетнюю войну... А вот серебристую ниточку нашей Реки в лунную ночь я, представьте себе, и оттуда узнавал...

Будто вижу, как он, огибая планету, входит в южные широты, как ждет в одиночестве, пока вынырнет из лунного марева именно этот сектор земного шара, представляю, с каким волнением сей сын Земли, прильнув к иллюминатору, старается разглядеть среди бесчисленного множества земных объектов нечто свое, самое дорогое, едва заметное... Он сказал: ниточка. То, что для нас, землян, могучая полноводная Река, для него, с огромных тех расстояний, будет лишь тоненькая голубоватая или серебристая нить...

— Когда пролетаете над ней, все-таки екнет что-то в душе?

— Еще бы! Река, на которой вырос... Разве ее забудешь, Реку своего детства!.. Вот уж действительно волнует при всякой погоде!..

— Степная река: столько в ней солнца, лазури...

— Это верно, только образ Реки осенней, суровой вспоминался там прежде всего. Так отчетливо вижу то осеннее надвечерье, когда наши войска подошли к Реке и с ходу, в ту же ночь давай форсировать ее. Совсем пацаненок был, а ситуацию и я понимал — сейчас даже удивляюсь... Первые храбрецы, переправившись, сразу зацепились на правом берегу, создали плацдарм, но надо же было поддержку им обеспечить, чтобы не погибли... Все наши — и стар и млад — бросились помогать солдатам на ночной переправе. Наиболее отважными оказались именно старики, один за другим, не страшась обстрела, подгоняют к шелюгам рыбацкие свои лодчонки: садись, хлопцы, дважды не помирать! Мать моя тоже села на весла, ей выпало задание перевозить телефонистов, которые должны были дать связь через реку, а вот куда сынишку перепуганного девать? Оставила меня на берегу, в зарослях шелюги, и, уже отчаливая, чтобы ободрить, мама подала голос из темноты: «Только не хнычь, тогда меня пуля не тронет»... Можете представить мое состояние.

— Да, такое, пожалуй, не забывается...

— Сижу один, дрожу в зарослях, ночной ветер шуршит камышом, вдалеке стрельбу слышно. Из крошечной тьмы противоположного берега огни ракет, струи трассирующих в сторону Реки — так жутко, жутко от них... Думал, умру, пока маму дождусь, да и дождусь ли? — всякое ведь мерещилось в детской душе. А мама, вернувшись, обняла

меня наспех, прижала на минутку к себе и снова ушла в рейс, оставив своего героя в кустах с такими тяжкими его переживаниями. Всю ночь под огнем действовала переправа, и я, конечно, глаз не сомкнул, однако мама моя оказалась везучая, все благополучно обошлось, еще потом и медаль за переправу получила. «Может, это ради тебя, сынок,— говорила потом,— река пощадила меня».

Космонавт смыкает глаза, хотя по дрожанию ресниц видно, что он не спит. Глубокая складка ложится ему меж бровей и уже не исчезает.

«Крепок, молод, а тяжесть пережитого оставила свою печать,— думаю о нем.— Перегрузки, сверхнапряжение всей нервной системы, да еще одиночество, бескрайнее космическое одиночество... На орбите, как и в окопе, видимо, самое страшное для человека ощущение одиночества...»

Стюардесса, проходя вдоль салона, окидывая зорким взглядом пассажиров, дольше обычного фиксирует свое внимание на моем соседе, который вроде бы дремлет, полузакрыв глаза, хотя юношеское его лицо и сейчас хранит веселое выражение. Девушка, приостановившись, ждет, может, какого-нибудь вопроса или шутки с его стороны, как бывало до этого, однако на сей раз никакой реакции не последовало, и она, вскинув плечом и сама себе улыбнувшись, дальше уплыла с этой улыбкой, которую неизвестно как и расшифровать. Возможно, девушка заметила, что космонавт лишь делает вид, что погрузился в сон? Удаляясь, она еще раз обернулась, пристально, уже без улыбки взглянув на моего соседа, вроде чем-то озадаченная. Она, вероятно, все же узнала его, припомнив те дни, когда фотографии этого юноши облетели планету и когда он, в скафандре, был для всех нас существом почти неземным?

Лайнер идет на больших высотах, но и здесь уже ночь. Свет в салоне пригашен, остались лишь кое-где слабенькие сигнальные светлячки, в частности те, которые обозначают запасные аварийные выходы. Стюардесса раздала желающим исландские пледы, легкие, словно пух, просто невесомые, чтобы пассажиры, прикрывшись и поудобнее устроившись, могли спокойно отдыхать, пока где-то там, за тысячи и тысячи футов под ними проплывает еле видимый с высоты, но от того не менее грозный океан.

Спокойствие царит в салоне. В удобно отрегулированных креслах люди полулежат, и своими неестественными позами они несколько напоминают космонавтов, какими мы их видим иногда на экранах телевизоров. Время течет ровно. Почти все пассажиры салона уже спят, а мы с соседом еще бодрствуем, к нам сон почему-то не идет. Космонавт все никак не устроится, то подлокотник ему мешает, то подушечка вывалится из-под головы, а главное, никак не удастся парню плед превратить в спальный мешок, а ему хочется именно этого. Я к пледу еще не дотронулся, успеется, меня снова тянет к иллюминации, хотя сейчас не многое там увидишь — там ночь, глубины

тмы, и лишь далеко-далеко внизу колыхнется сумеречный мерцающий свет океанских вод.

Сосед никак не приладится к своему прокрустову ложу, ерзает, переворачивается с боку на бок, кутаясь в плед поудобнее.

— Что, никак не устроитесь? — спрашиваю, однако отклика нет.

«Не идет на сближение, — думается мне. — Будто и открытый, доступный, а все же...»

Может, людям его профессии так и положено держаться — в некотором отдалении от остальных? Сквозь щелки острых прищуренных глаз лишь изредка проблеснет краешек души, чуть лукавой, неуловимой, заполненной тем, что не разглашается. Вроде лежит на нем, на всем его облике некий покров таинственности, этой неисчезающей удаленности от всех прочих землян... Было ли это и прежде в нем, или появилось после того, как он побывал там, где нам быть не довелось, после того, как изведаль то, что для прочих землян остается тайной или полутайной? Порог нового познания, он его переступил... По натуре общительный, однако лишнего не скажет, хлопещ себе на уме. Впечатление такое, что он все время сдерживает свою словоохотливость, предстает перед тобой в далеко не полной открытости. Говорят, это у всех у них так. И те, что побывали на Луне, после своего возвращения на Землю тоже не обо всем распространяются, хотя видели, надо полагать, нечто прочим смертным недоступное, были, наверное, поражены чем-то, возможно, и разуму человеческому не подвластным, иначе почему же они вернулись на Землю в состоянии крайнего потрясения?

Жаль, конечно, что так получается: представился вот случай ближе познакомиться с человеком из звездных трасс, а он от сближения уходит, держится на расстоянии, не подпускает к себе, — сейчас вот, видно, окончательно настроился на сон. По тону дыхания, однако, слышно, что он не спит. Притих, потом снова пошевелился, поправляя плед, и, воспользовавшись этим, я еще раз пытаюсь вовлечь его в разговор.

— Извините, — говорю, — но вам, пожалуй, интересно будет знать, что один из предтеч космонавтики приходится мне близким земляком... Да, да, — отвечаю на его удивленный взгляд, — имею в виду именно того гениального самоучку, чье воображение еще в годы гражданской войны чертило на грубой бумаге столь смелые трассы для вас...

Космонавт, с полуслова поняв о ком речь, тут же приподнялся, освободившись от своего исландского скафандра. Нажав кнопку, поднял кресло, склонился ко мне:

— Значит, вы родом из Полтавы? Или из Малой Виски?

— Во всяком случае, с тех широт...

— И вы его знали в молодости?

— Нет-нет, личным знакомством с ним похвастаться не могу, но

кое-что из земляческих сказаний докатилось, кое-что слышал из людских уст...

— Вот случай! — восклицает космонавт и с жаром обращается ко мне: — Расскажите... Рассказывайте все, все... Это именно то, что давно меня интересует! Каждая мелочь здесь важна, малейшие крохи фактажа... Ведь это человек-легенда, а у нас о нем такие скудные сведения!

Собственно, и я о своем загадочном земляке не многое знаю, к тому же не всегда в слышанном различий, где факты, а где домыслы, полупереда...

— Кочегаром он был у нас на сахарном заводе, — припоминаю сведения, полученные от земляков, — затем механиком... А к небу он всегда имел тяготение. Управится в паровичне, то есть в котельной, заберется на крышу и до поздней ночи Луну рассматривает в самодельную подзорную трубу...

— Ну а собой каким он был? Что чудяком его считали, человеком не от мира сего, это известно, а вот попросту, по-житейски... Каким его рисует народная молва?

— Рисует юношей высоким, чубатым, нрава, говорят, был веселого, компанейского... Хотя и тиф перенес, а все в работе, все что-то мастерит, — руки имел просто золотые. В трудную минуту каждому из товарищей готов был помочь, не ожидая потом никакой благодарности за это. Вообще, как уверяют, все материальное для него было нипочем, то, что мы называем бытом, для него не имело никакого значения... А вот на чью-то беду откликнуться, подействовать в чем-либо, пусть и малознакомому человеку, о, в этом он был находчив, тут уж он давал волю своей изобретательности... Хозяйки, у которых он квартировал, и дети до сих пор вспоминают своего жильца, никак не нахвалятся: стулья, скамейки, кастрюли — все, бывало, подремонтирует, наладит собственными руками. На какую вещь только глазом кинет, так и мудрит, как бы улучшить, усовершенствовать ее, чтобы человеку легче, сподручней было. Рассказывают, какие он хорошие жорна-жернова, то есть ручные мельницы, людям делал, ведь то были трудные времена. В котельной изобрел остроумное механическое устройство, чтобы облегчить труд кочегаров, затем предложил пневматический способ очистки дымогарных труб... Одним словом, о нем можно сказать, что был этот человек чем-то больше, нежели человек, вроде сам дух неумных исканий воплотился в нем, дух творческой одержимости, устремленности в дали какие-то иные, запредельные...

— Вспомните, пожалуйста, еще что-нибудь, — распаляется в любопытстве космонавт. — Нам, разумеется, известны его публикации, но то ведь труды более позднего периода...

— С идеей космических полетов он не расставался с тех пор, когда, будучи гимназистом, прочитал фантастический роман о сооружении

грандиозного тоннеля под Атлантикой, под этим вот океаном, бушующим где-то там внизу. Тоннель, который соединил бы два континента, нашему энтузиасту не казался фантастикой, недостижимой мечтой. Но откуда же было взять колоссальное количество энергии для строительства подобного размаха? Вот тогда-то и озарила его мысль спроектировать глубокую шахту, направленную к центру Земли, чтобы добыть оттуда необходимую для предстоящего транс-континентального строительства энергию недр, а в дальнейшем использовать ее, то есть теплоту земного ядра, для реализации еще более смелого замысла — для полетов к соседним планетам Солнечной системы...

— Что ему там надо было, на других планетах? — неожиданно и несколько бестактно врывается в наш разговор стюардесса, стремительно появляясь у нас из-за спин и не скрывая, что ей удалось кое-что услышать из того, что ее совсем не касалось. — На земле столько неурядиц, а им другие планеты подавай!.. — Последние слова она, удаляясь, бросила в нашу сторону почти сердито; удивленные, мы с соседом переглянулись в недоумении: почему, мол, эта милая особа вдруг разгневалась? Может, что все спят, а мы разговариваем? Улыбнувшись, космонавт заметил, что некоторым девушкам гнев даже к лицу.

«А впрочем, так ли уж она и неправа в своем замечании? — подумалось мне. — Ведь столько на планете нерешенных проблем, сегодняшних и завтрашних, а нам бы скорее вырваться за пределы земные... Рвемся к звездам, а дорогу к собственной душе так ли уж извели?»

— Невероятно, что в XX веке, во времена цивилизованные, столь быстро может затеряться след человеческий, — в раздумье снова заговорил космонавт. — Наш современник, мог бы ведь еще и сегодня он жить... Столько сделал для нас, а мы так непростительно мало знаем о нем... Трассы нам открывал, а его собственная жизнь остается, по существу, непознанной, полной загадок и тайн...

— Сверхалась как-то странно, вроде даже таинственно и от нас ушла как бы еще в большей таинственности...

— А как вы думаете, любил ли он кого? Неужто он не знал любви? До меня доходили лишь кое-какие отзвуки на этот счет. Была будто бы та, что влюбленно, терпеливо ждала его в течение лет, а он все где-то бурлаковал, неутомимо искал себя и свою мечту, строил элеваторы, затем проектировал по заданию наркома мощную ветроэнергетическую станцию, какое-то гигантское крылатое сооружение, которое должно было увенчать собою вершину Ай-Петри... Жил среди фантазий, а от любви вроде бы убегал, друзья даже шутили: «Да он же суженый звезды!..»

Неизвестно кем и когда оброненная шутка эта нравится космо-

навту, однако услышать он предпочел бы что-нибудь более достоверное, более близкое к фактам:

— Как вы думаете, изведаль ли тот «суженый звезды» чувство земное, чисто человеческое чувство любви?

— Видимо, да, рассказывают, он песни любил петь, мастерит что-нибудь и напевает, а это ведь признак влюбленности... После тифа, только встал на ноги, худющий, изможденный, и тут же давай дрова рубить во дворе квартирной хозяйке, а между делом, сев отдохнуть, всю улицу развлекает душещипательным романсом, одним из модных в те годы. Видно, что умел радоваться жизни, наполненно жил, хотя и крайне непритязательно: все лето в брезентовой, замасленной одежде, в гетрах с толкучки, а зимой в огромном кожаном, который его друзья называли «ротондой», — это когда он уж на Алтае элеваторы строил...

— Пришлось мне видеть один из тех элеваторов, — улыбается космонавт. — Местные детишки «мастодонтом» прозвали это сооружение за его странную удлиненную форму... А между тем сооружение весьма остроумное, оригинальной конструкции, сплошь из дерева рубленное, без единого гвоздя, ведь тогда республика и в гвоздях испытывала нехватку.

Загадки, загадки... Увлеченно предаваясь земному, на каждом шагу что-то изобретая, совершенствуя, возводя, он ни на миг не забывал о самом своем заветном, звездном, о том, что из чертежей да формул по ночам добытое ложилось потом в школьную тетрадь, как алгебровой поперечная гармония, как венец многолетних человеческих устремлений...

— Ни признания, ни наград получить не успел, а между тем без его усилий разве не отодвинулись бы на неопределенное время все наши полеты, — с нескрываемым сожалением размышляет космонавт. — И трудно понять, почему такого уникального человека не удержали в сорок первом от намерения идти в народное ополчение...

— Не забывайте, какое то было время, — говорю космонавту. — Враг стоял под Москвой.

— Я понимаю, что война диктовала свои законы, — размышляет он. — И все же служебные лица, которые его отправляли с маршевой ротой, должны были бы разобраться, кто есть кто?

Упрек его будто относится и ко мне.

— Говорят, его удерживали, но разве такого удержать? Да еще в той ситуации... Тысячи и тысячи добровольцев шли тогда в ополчение, оставляя дома матерей, жен, детей... И разве мог он, человек такой совести, такой целеустремленности, искать в той обстановке каких-то льгот для себя или преимуществ? Вы же чувствуете, какой это был человек...

Мы сидим с соседом, уже близко склонившись друг к другу, оба мы сейчас захвачены образом того человека, может, и на фронт уходивше-

го с мыслью о звездах, захвачены той третьей жизнью, которая будто тоже рядом с нами над океаном летит. Присутствие той третьей жизни вроде и нас сближает, роднит, и вместе с тем она не поддается, чтобы мы до конца разгадали ее.

Человеческое воображение устали не знает, и вот наступает какой-то момент, когда реальность салона странным образом преобразуется, нет уже ни спящих, укрытых пледами людей, ни ровного гудения двигателей, несущих нас сквозь тьму над океаном, вместо этого возникает передо мной в серой шинели связист из нашей фронтовой части, он точь-в-точь похож на моего друга пехотинца Шамрая... Их уже и не разделить. И ополченец-ученый, чью жизнь мы только что пытались разгадать, и измученный пехотинец, отец оставленных дома детей — оба они сейчас для меня уникальны, оба сливаются передо мной в один-единственный, неразделимый образ изможденного, высокого человека в обмотках, который шагает куда-то под осенним дождем в своей насквозь промокшей шинели без хлястика, в измятой, потерявшей форму пилотке, с катушкой телефонного кабеля на спине... Это идет он, пехотный связной 41-го года. Идет под холодным нескончаемым дождем в непроглядную ночь, где только грязиза чавкает под ногами, хлюпая до колен, поналипав на обмотках тяжелыми комьями. Случится болото — шагай вброд через болото, а сойдутся перед тобой кусты — продерись сквозь колючки да все дальше иди, да все быстрее, быстрее, быстрее, ибо это ваш форсированный ночной марш, ибо где-то там от вас ждут помощи и спасения. А если уж совсем изнемогли, насквозь промокшие от дождя и собственного пота, получите вы разрешение на привал, то падаете, где кто остановился, где кого застала команда, просто в грязизищу валитесь, ведь тщетно было бы здесь выбирать место, всюду вокруг тебя земля раскисшая, трясинная, всюду топь и топь. Падаете, и от крайней тупой усталости засыпаем вмиг, уходим в сны еще быстрее, чем этот космонавт, умеющий усилием воли программировать свой сон...

Итак, мы там, среди дороги ночной, у нас привал, нас ждут миры чарующих сновидений. Кто-то кладет под голову отощавшую солдатскую котомку, кто-то вместо подушки использует свой кулак или катушку с телефонным кабелем, этот склонился на лежащего товарища, а тот на колени следующему, каждый лежит, прижимая винтовку к себе, прикрывая ее шинелью от дождя, и в этих скрюченных, неестественных позах мы, свалившиеся в грязизищу среди дороги, пребываем на вершинах блаженства: как самые дорогие дары судьбы принимаем эти отпущенные нам минуты привала. И прежде чем подадут нам команду «вставай!», прежде чем разбитая, раскисшая от дождей полевая дорога согреется от наших тел, мы успеваем — за какие-то считанные минуты — выйти из ужасов реальности, погружаясь с головой в забытие, успеваем при этом даже увидеть сны, — то были самые сладкие в мире сны, сны наших былых радостей,

дружб и привязанностей, золотые видения недостижимых домашних очагов...

Высокий истощенный связист, на котором шинель висит будто на палке, а катушка телефонного кабеля делает его горбатым,— он шагает передо мной, шагает тяжело, еле держась на своих тонких донкихотских ногах, в облипших грязью до самых колен обмотках. И все же после привала он словно бы духом окреп, прежде был молчалив, а теперь повеселевшим голосом обращается к своим связистам, обещая им со временем изобрести иной, куда более легкий и возможно самый надежный способ связи между людьми. А если кто бросит шута на ходу — ну, это, братцы, среди нас объявился «гений в обмотках», то он ничуть не обидится, только «гений в обмотках» так уже к нему и прилипнет. Несмотря на крайне изможденный вид, выносливость его удивительна, живет в нем настоящая двужилкость, под такой тяжестью идет, а жалобы от него не услышишь, только когда чужие ракеты станут зловеще вспарывать ночь над близлежащим угольно-темным лесом, ночной безымянный мой товарищ тихо вздохнет, обращаясь ко мне:

— Уже недалеко.

На рассвете мы входим в лес, входим, будто в готический собор,— так высока тут стройность могучих, еще не тронутых войной мачтовых сосен.

Ночь на исходе, дождь наконец прекратился, меж верхушками леса проблескивает звезда, одна, еще одна появляется и еще, они на редкость ясные, алмазно-чистые после дождя. Долговязый связист прилег среди товарищей на лужайке, смотрит вверх на те звезды, на их предутреннее далекое мерцание, и мы видим на его заросшем лице, на потемневших устах подобие улыбки.

Будет потом внезапный, как всегда, приказ немедленно прокладывать линию связи, и наш длинноногий связист пустится трусцой вдоль опушки, двигаясь неумело, открыто, точно живая мишень в своей перекошенной, забрызганной грязью шинели. Несмотря, однако, на свою внешнюю вроде бы неуклюжесть, он кабель все же проложит, связь установит, обнаружив при этом неожиданную ловкость. Но только вернется, как снова кто-то там подает привычный голос: «Порыв! Связь порвало! Давай связи!» Кому же теперь бежать, чтобы соединить, восстановить где-то там поврежденную вражеским металлом линию? И опять поднимается он, которого в дороге товарищи с симпатией называли гением в обмотках, поднимается сам, добровольно. Взглянул вверх, улыбнулся кому-то и неиспуганно, вроде под защитой звезды, снова пустился трусцой по опушке искать поврежденное место. Все наблюдали, как он, подобрав шинель, побежал и побежал, почти не пригибаясь, не прячась. Да вот остановился, кажется, нашел, что искал...

А когда, скошенный пулеметной очередью, он упал с ниткой кабеля в руке, упал на месте, не одна звезда вздрогнула в рассветающем небе над верхушками этих мачтовых сосен!

Казалось бы, все. Но и после этого он какое-то время еще вроде присутствует в нашем лайнере, сидит где-то там в одном из передних кресел, сидит, как был — в шинели, в обмотках, еле прикрытых казенным исландским пледом.

— Гений в обмотках — это верно, — задумчиво произносит космонавт. — В нем вся эпоха... Весь дух ее, и порывы, и безмерность потерь...

Тихо в салоне. Неведомые нам сны людские, прикрывшись пледами, движутся в ровном ночном полете. Иногда, склоняясь к иллюминатору, посматриваем за борт: что там? Во все стороны — ночь, недра тьмы, мерцающая бездна.

А мне все думается о нем: с чем же этот странный мой земляк все-таки надеялся встретиться на иных планетах, чего там искал? Может, каких-то радостей неземных, какого-то еще неведомого, самого полного счастья, которого он был лишен в своей короткой и загадочной жизни?

1983

НОЧЬ МУЖЕСТВА

Для тех, кто в палате, он был просто Механизатор. Крайний в углу у двери. Еще не оперированный. Ходячий еще. А что Механизатор, так это потому, что привезли его прямо с поля. От агрегата. Оттуда, где простор, и жаворонок в небе на рассвете, и человеку так легко дышится.

А здесь... Никто не сказал бы, что его точит какой-то недуг. Такой здоровяк! В палату он явился будто воплощение здоровья, будто один из тех, о ком говорят: человек в расцвете сил. Коренастый, плотный крепыш. Широко развернутые плечи, шея атлета. Крепкое с волевым подбородком лицо все жарко горит, и шея да грудь из-под расстегнутой рубахи тоже горят, точно кожа еще хранит на себе знойное дыхание полевых ветров. Лишь разлившаяся в глазах какая-то птичья желтизна подтверждает, что в руки медицины Механизатор попал не случайно.

Никакой в нем паники, никакой растерянности. Спокойное лицо, сурово сжатые губы выражают упорную натуру. Немного словен он.

Когда соседи по палате спрашивают, боится ли он идти под нож, отвечает глухо, уверенно:

— Больше раза не умирать.

— Этот выдержит, — говорит от окна худой, изможденный Кибернетик.

— Должен выдержать, — чуть слышно произносит Механизатор.

А только почему же в глазах за той разлитой желтизной так много тоски, тоски?

Операция уже назначена, но до нее у него есть еще время. Итак, пока что он свободен. Ему разрешается разгуливать по корпусу. Он встречается студентов в белых больничных халатах, в белых колпаках, — куда-то они, шумливые, каждый раз торопятся. Мало что успевает понять из их ученой скороговорки, но решительность в походке, молодая отвага в их глазах действуют на него успокаивающе.

Назначенных на операцию провозят на каталках к той комнате, где все тайна тайн. Спустя некоторое время появляются оттуда хирурги, покрытые потом, угрюмые, аж злые от напряжения: только что вскрывали человека, заглядывали в такое сокровенное, куда отродясь никто не заглядывал.

Так ты не боишься?»

«Должен выдержать!...»

Отец — сапер, он погиб на Днестре в ночь форсирования, вроде оттуда, из самых тяжких своих ночей подает голос: «Держись, сынок. Мы из тех людей, кому надо всегда держаться...»

Хирурги, измочаленные после операции, сидят молча, курят в конце коридора возле аквариума. Склонясь лбами друг к другу, мрачно смотрят в землю и дымят, дымят, снимая с себя напряжение. Точнехонько хлопцы-механизаторы, когда в осеннее ненастье, намаившись с плугами возле агрегатов, соберутся, наконец, в полевом вагончике на свой тяжкий перекур и, рассевшись по углам, понуро слушают, как ветер рвет опалубку да дождь холодно барабанит по крыше.

Много еще тяжелого на свете. Никогда не думалось, что где-то за твоими голубыми полями, за твоими стосильными буднями существуют такие огромные скопища пораженных недугами людей, измученных, страдавших в ожидании чуда... И что столь изнурителен труд этих вот дипломированных, что в белых халатах, чье призвание и чья судьба — сражаться и сражаться за человеческие жизни...

Когда хирурги уйдут, Механизатор сам займет их место у аквариума; красноперые и золотые, никогда прежде не виденные им рыбки снуют меж водорослями в своем маленьком тропическом море за толстым стеклом. Плавают, весело играют в воде, не чувствуя, что находятся в неволе, что, может, какие-то рыбы хворости уже подстерегают их. Все у них есть необходимое для вполне благополучного существования: водичка, песок на дне, водоросли диких видов, а если надо, появится дежурная сестра, особа накрахмаленная, белоснежная и, улыбаясь, сыпанет им сверху какого-то специального

рыбьего комбикорма... Живи, рыбешка! Сотворила тебя природа, чтобы ты горя не ведала...

— Все не из наших морей,— скажет сестричка, приветливо обращаясь к нему.— Откуда-то из тех акваторий, где нам вряд ли придется побывать.

— Что верно, то верно.

Часами бродит Механизатор по корпусу, а когда ночь настанет и сон придет в палату, ему и тогда не ложится в постели, нестерпимо ему слушать стоны соседей и самому не хочется выпустить из груди зажатый там стон... Ибо внутри горит, будто голодные лисицы проникли тебе в нутро и терзают, рвут все, что там есть. Берет с собой но-шпу и еще какую-то болеутоляющую дребедень и выходит во двор, под звезды и шорохи лип. Вахтер уже знает Механизатора в лицо и выпускает его из корпуса без пререканий, умиляясь собственному великодушию.

— Для тебя исключение делаю,— говорит Механизатору.— Ведь когда-то и сам на «ХТЗ» сидел, знаю ваш хлеб...

«Надо, чтобы Даринка гостинца ему привезла,— мысленно обозначит для себя Механизатор,— ведь не трешку же сунуть этому приятелю за его любезность, да и не умеешь ты трешку... не приобрел еще такого опыта»...

Липы шелестят, звезды мерцают над телевизионной башней, где-то птица сонно воркует — не горlinkа ли полевая залетала из лесополосы?

Странное чувство: будто впервые открываются ему эти ночи с темными шатрами лип, с мерцанием звезд, с отдаленным мощным гудением города. Бесчисленное множество звезд в небе, может, чьих-то душ, когда-то обитавших на земле; а теперь вот целыми созвездиями собрались в свои небесные звездные роды... Прямо перед глазами висят среди космоса Стожары, висят гроздью расцветшей акации... Говорят, есть еще Волопас, и созвездие Лебедя, и созвездие Жирафа, но где они, где? Стожарами да Медведицей исчерпываются твои знания о вселенной, их только и постигал из трактора в свои трудовые, с такими длинными загонками ночи... Кто там сейчас на твоем месте, в кабине у руля, пока ты здесь, в одиноком ожидании чуда?

Между липами, где после дождя лужица блестит, двое утят устроились, вчерашних твоих знакомых, диких. Залетели откуда-то, неким десятым чувством учуяли, что их тут никто не обидит, и прижились, обвыклись возле людей. Как они постигли, какой инстинкт им подсказал, что человек, попавший в беду, человек, которому больно, становится добрее ко всему живому?

И Механизатора эти маленькие дикари не испугались, только перекрякнулись о чем-то между собой, когда он остановился совсем близко возле них. Чуть всполошились, но не оставили облюбованного

места. Сколько же их было пугано там, в его краях, когда порой хлопцы, собравшись целой компанией — то на мотоциклах, а в непогоду и на тракторе, — отправлялись на охоту. Нет, не до жалости, не до сострадания тогда было — там царила удаля, всю пировал веселый охотничий азарт! Получишь потом от председателя нагоняй за самовольно взятый трактор, наслушаешься и дома упреков от своей Даринки, и поделом, ведь вернешься в грязи по уши, как чертяка болотный, да еще и на ногах чуть держишься, не рюмки же берете на охоту, а стаканы граненые, — свой был в этом механизаторский горор, свой шик... Да, жалости не было, все, что в воздухе летит, становилось для вас мишенью, слышали только ружейную пальбу да крики подранков, запутавшихся где-то в траве. Разгул азарта, суета, всплески пламени над камышами, кроме этого, кажется, и не видел ничего, нежности ночи не слышал. А теперь вот хотелось присесть и погладить рукой этих прибившихся сюда утят что так трогательно ютятся здесь, жмутся друг к другу, без опаски пристроившись за шаг от твоей ноги.

И небо в звездах такое, будто ты раньше его и не видел, и эти липы-красавицы, чьей красы ты раньше не замечал. Неужели надо было столько перестрадать — и дома, и на работе во время приступов, и этими больничными ночами, вопящими человеческой болью и стоном, чтобы хоть немного прозреть и стать способным замечать какие-то самые обычные и вместе с тем безмерно прекрасные вещи, которыми изобилует этот живой окружающий мир?

Сев на скамейку невдалеке от утят, посматривал на темные больничные ворота, запертые на ночь. Вскоре должна приехать его Даринка. Оставит детей на маму, выпросит у председателя газик-вездеход (отказа не будет) и стремглав примчится сюда, на такое горькое свидание. Прихватит гостинцев домашних, хотя они тебе сейчас и ни к чему. Накануне удалось связаться с конторой колхоза по телефону, посоветовал, когда будет ехать Даринка, пусть возьмет на ферме свой белый халат, из тех, что в качестве спецодежды выдают дояркам, потому что здесь насчет халатов не очень, в гардеробе посетители их не допросятся, а без халата в корпус не войдешь. И надо же, Даринка и сама об этом уже подумала, проявила находчивость, так ему контора ответила. Не будут Даринку теперь задерживать, принимая жену в ее фермерском облачении за медсестру или санитарку, явившуюся для пополнения медперсонала.

Даринка — вот кто для него дороже всех на свете! Ну и мама, конечно, и дети, само собой, однако Даринка... что и говорить. Она еще больше раскрылась в эти трудные для них дни. Молодчина, оказалась такой смелой, решительной, это она настояла, когда ему стало совсем плохо, чтобы его не держали в медпункте, а немедленно отправили в город, в самый лучший институт, где научные светила, где аппаратура!.. После ее посещений ему становится вроде лучше, может, потому,

что она, как никто, верит, что все обойдется, что чудо все-таки произойдет. Ах, Даринка, Даринка! Хорошо, что не слышишь ты; как ругаются по ночам в палате больные, последними словами поносят тех, что напридумывали ракеты да всякую прочую гадость для смертоубийства, а спасительного, простейшего лекарства, чтобы спасти человека, изобрести не могут... Ах, Даринка, горлинка моя...

Склонился на руку, погрузился в дрему, и тут же Даринка ему приснилась: будто где-то полем гонится он за нею, бегут они среди пшеницы высокой, вот-вот, кажется, схватит ее, свою юную женушку, однако она все не дается ему в руки, все убегает, оглядываясь и смеясь, такая молодая-молодая, тугогрудая, чернобровая, только почему-то совсем седая... Очнулся в тревоге: к чему бы это? Как истолковать эту тайну сна? Раньше не верил он в сны, не верил в приметы, а эта вот, убегающая, молодая, как в девичестве, ускользающая из рук его Даринка, что так призывно смеется, хотя и совсем поседела во сне, — какую весть подает она своим появлением?

Может, это знак, что Даринка уже в дороге, где-то мчится к нему ночными полями, неся ему свою радостную веру в чудо? Что он ей скажет при встрече? Найдет ли какие-то особые редчайшие слова, осмелится ли произнести слова высшей нежности, такие, каких уже давно не слышала от него Даринка...

А сегодня рождались в его душе именно такие к ней обращения, юношеские, давние, и ребятишек называл здесь под липами совсем необычными ласкательными именами, в которых дома он прибегал лишь изредка. Ведь после целого дня в поле, когда тело гудит от усталости, после осенних плугов, когда все радикулиты лезут к тебе в кабину, вваливаешься домой, словно побитый, и какая уж там будет охота смотреть детские тетради, а тем более вглядываться в тянущиеся к тебе навстречу сложные детские души. О, как хотелось бы ему сейчас сделать что-то доброе, приятное малышам, и маме, и жене! Пусть только выберется отсюда, никогда маме слова грубого не скажет, и нервы Даринки будет беречь, не обидит ее нисколько, даже во хмелю не станет ревновать ее к тому шалопаю-зоотехнику, — пусть танцует себе с ним на свадьбах, сколько угодно, ведь ты же хорошо знаешь, что душа ее принадлежит тебе, что оснований для ревности у тебя никаких. В корне перестроит он теперь всю свою жизнь! Переделает свою натуру, на все сто восемьдесят повернет в лучшую сторону! Докурит вот сигареты — и все, могла. И к рюмке не прикоснется, а если уж обстановка заставит, пепси-колы хлебнет или чего там. И на охоту — ни в какую. Только вернется, ружье свое выбросит вон. Впрочем, нет, лучше сунет под пресс в мастерской, чтобы аж захрустело! Пусть, наконец, у птиц на Бродщине и в Чары-Камышах будет праздник. Чтобы не случилось, как с тем директором из-за Ворсклы, который ни одной охоты не пропустил, каждый раз дичи полгазика вез, а когда трянуло инфарктом раз, да трях-

нуло второй, так он, бывшая гроза всех пернатых, теперь если и отправляется на угожья, то лишь по привычке, — станет где-нибудь у озера и ждет, чтобы хоть какая-нибудь мелкота над головой пролетела, чтоб хоть крылышком живым прошумела над ним... Часами, бывает, томится в своем открытом газике, да все напрасно, а потом уронит голову на руки да и затужит, бедняга. «Никакие птицы не летят ко мне: ни крыжжи, ни турухтаны, ни даже бекасы! А мне же на них хоть бы разочек еще взглянуть...»

Сколько всяких дум за ночь передумает Механизатор, сидя под деревьями, и лишь перед рассветом, когда его позовут, тихонько переступит порог палаты.

— О, бродяга наш вернулся... А мы решили, что ты от ножа убежал.

— Не из тех я, что убегают...

А Даринка его уже близко. На этот раз не газиком, иным транспортом добиралась в город: сойдя с ночного поезда, не ожидая, пока пойдут первые трамваи, пешком шагает с увесистыми гостинцами за много кварталов к знакомому ей корпусу, — новый, недостроенный, возвышается он верхними, не заселенными еще этажами среди деревьев темного парка.

Во время предыдущих посещений Даринка приноровилась к здешним порядкам, научилась ловко обходить преграды, поэтому идет она не к парадному, где контроль довольно строгий, появляется эта посетительница на внутреннем черном дворе, в тылу корпуса, здесь будет ждать она до утра, расположившись на скамейке возле той самой лужицы, где прижились двое диких утят — уточка и селезень... Тут перекусит сама, потом и птиц покормит крошками, внимательно наблюдая, как, подкрепившись, пытаются они нырять на своем мелководье, смешно так водичку клювами фильтруют. Здесь Даринку и утро застанет. А когда заря запылывает над городом, начнет Даринка прикидывать, как ей лучше всего проскользнуть в корпус. Нужно не так, а эдак. Не отсюда, а, пожалуй, оттуда... От вахтера-придиры милосердия не жди, а вот заступит на смену знакомая лифтерша, тогда другое дело... А кроме того, ведь и спецодежда у тебя, Дарина, с собой...

Механизатор человек покладистый, однако перед операцией поссорился с персоналом, наотрез отказался ложиться на больничную каталку: он, мол, ходячий и в состоянии сам дойти до операционной.

— Нет, мы просим вас лечь, — настойчиво уговаривали его, — у нас такой порядок.

— Формалисты вы со своим порядком... К чему это: ходячего везти на колесах, вроде младенца?

- И все же мы настаиваем. Не упрямитесь, пожалуйста. Иначе...
- Ну, что — иначе?
- У нас будут неприятности.

Подумав, согласился.

— Ладно, будь по-вашему, хотя смешно, — буркнул он сердито. — Везите.

Вскоре после того, как он, укрытый простыней, в сопровождении сестер исчез за дверью операционной, в коридоре появилась еще одна, вроде бы медсестра — чернобровая молодлица в белоснежном халате, в котором только опытный глаз мог бы угадать один из тех халатов, что носят на фермах доярки. В конце коридора, притаясь за высокой, чуть ли не до потолка, пальмой, Даринка стояла возле аквариума, но ни рыбок красноперых не видела, ни сигаретных окурков, натыканых в бочке с пальмой, — вся она была сейчас сплошное напряжение, вся обратилась в слух, в зоркость, в птичью настороженность... Полный ожидания и беспокойства взгляд ее прикипел к двери операционной. Прислушивалась, не донесется ли оттуда голос — но ни голоса не было слышно, ни крика, ни стога. Стояла так, сама не знала сколько, то ли час, то ли вечность, и все не отрывала взгляд от двери, за которой неизвестно что: жизнь или смерть?

Не заметила, как уса́тый вахтер с ледяными щелками глаз очутился рядом с ней и словно поймал на месте преступления:

— Ты как проскользнула?

Вероятно, надо было сразу ткнуть ему трояк, но что-то удержало Даринку. Так же, как и муж, она до сих пор не научилась совать деньги. Да этот служака, похоже, не взял бы — не тот момент. Поэтому сказала только:

— Извините.

— А халат кто тебе выдал?

— Это из дому, — ответила, чувствуя себя крайне виноватой. — Вы уж разрешите... Тут ведь оперируют моего... Батька нашего! — выкрикнула она полусшепотом. — У нас же трое детишек!

Что-то было в ее голосе такое молящее, такое человеческое, что даже этот привыкший к упрощениям и не поддающийся им служака дрогнул.

— Смотри тут, — смиловившись он и, махнув рукой, направился к лифту.

Из операционной не доносилось ни звука. Никто не заходил туда, никто не появлялся из этой самой таинственной из комнат, хотя что-то там происходило, что-то свершалось тревожное, страшное.

Нервы посетительницы напряжены были до предела.

Спустя какое-то время появилась старушка лифтерша — она покровительствовала Даринке, но сейчас и ей пришлось объяснить посетительнице: мол, здесь, близко от операционной, стоять не

разрешается, надо перейти вон туда, в противоположный конец коридора.

— Иду, иду, — сразу же согласилась Даринка и покорно последовала за лифтершей.

Но не успели они пройти и нескольких шагов по коридору, как Даринка услышала, что дверь операционной открывается. Оглянувшись, она увидела, как оттуда выходят белые колпаки. Не помня себя, отбросив все запреты и правила, она решительно бросилась навстречу хирургам. С ходу, с лету угадала именно того, который был ей нужен. Колпак, огромные очки да злое, усталое лицо с впалыми щеками.

— Вы профессор?

Очки, сердито блеснув, взметнулись на нее.

— А вы кто такая?

— Я — жена! Как он? У нас трое детишек...

Это был самый сильный из всех возможных ее аргументов, и в то же время мольба, призыв спасти мужа, вернуть к жизни.

Профессор чуть смягчился, но в голосе его по-прежнему слышались недовольные нотки:

— Мы сделали все, что возможно. Даже больше... Но... мы не боги!

— Так как же?

— Остается надеяться на чудо.

Сутулясь, он пошел к аквариуму, доставая на ходу сигареты.

Один из врачей помоложее, видимо, ассистент профессора, коснулся плеча посетительницы:

— Поймите, у него ведь тоже нервы... Но операцию он сделал блестяще...

— Значит, он будет жить?

— Вы же слышали: надеемся на чудо.

После этого он тоже направился к аквариуму, чтобы сигаретным ядом снять с себя напряжение.

Итак, требуется чудо. А откуда его ждать? И верит ли она сама в чудо? Никогда не задумывалась над этим. Но ведь должно же существовать в природе чудо, должно же оно хоть изредка являться человеку, — нет, оно должно, непременно должно произойти! Сейчас! Ведь отец же! И дети! И на работе им так дорожат! И друзья дорожат, и правление, такой же он совестливый, безотказный, уважительный к людям, зимой и летом возле трактора. Он из тех покладистых, что не хитрят, за спины других не прячутся, себя не умеют щадить. А ей, а семье где такого найти? Нет, он нужен всем, всем! Вы обязаны во что бы то ни стало спасти его, слышите? Безгласно, бессловесно взывала она к тем, в колпаках, что, склонившись над аквариумом, тонули в сигаретном дыму.

А потом упросила врачей, чтобы не удаляли ее из корпуса. Будет помогать санитаркам судна носить, она ведь не боится любой, пусть

даже самой черной работы. Ей разрешено было ночевать в конце коридора на стульях. Разрешение это приняла с чувством глубокой благодарности. Теперь она близко от него,— он дышит за стеной в реанимации, она верит, что ее присутствие поможет поддержать его жизнь, его дух. Возможно, это и будет оно, то самое чудо?

Со временем, когда Механизатора снова перевели из реанимации в общую палату, Даринке разрешили взглянуть на мужа, отца ее детей. Увидев его, она обомлела: да разве это он? Муж лежал на кровати, открытый по пояс, в бинтах, рядом стояло какое-то устройство, от него к руке больного тянулся шланг.

— Капельница,— шепнула сестра.

Даринку ужаснули изменения, происшедшие в его внешности. Тот, которого она знала полным здоровья, который иногда умел быть даже шутивым, веселым, теперь лежал перед ней угасший, с лицом побелевшим, опавшим, и голова его казалась непривычно большой, а странные тягучие хрипы в груди заглушали все звуки в палате. Не слышно было ничего, кроме этих хрипов, размеренно, вроде механически повторявшихся, распиравших грудь, будто кузнечные мехи. И, пожалуй, лишь эти хрипы и говорили о наличии жизни, лишь они свидетельствовали о борениях могучего человеческого организма. Так вот, значит, как тяжело человеку приходится воевать за свою жизнь? Крик готов был сорваться с губ Даринки, но она нашла в себе силы сдержаться, даже изобразить на лице подобие улыбки.

— Андрушенька, голубчик...

Андрей узнал ее. Об этом она догадалась по его полураскрытым глазам, по такому спокойному и словно прицельному его взгляду — видно было, что он, хотя и заметил Даринку, однако взгляд его и дальше был направлен куда-то в пространство потолка, к чему-то такому, что ей не под силу было ни разглядеть, ни понять. Что он там видел, в углу потолка? К чему был прикован его взгляд? И почему она не слышит от него ничего, кроме хрипов? Неужели он не в состоянии вымолвить хотя бы полсловечка?

Она и дальше делала вид, что не испугана, стояла вроде безгорестная, почти улыбаясь. Лицо ее светилось в эти минуты прежней степной красотой, пусть и нелегко ей это далось, и хотя ее душили слезы, она ни за что не обнаружила бы своей слабости, своей боли и отчаяния. Нет, она стоит здесь такая, какая ему нужна,— чуть ли не веселая, с полными жизни блестящими карими глазами,— стоит такая, какой он ее любил.

Но не услышит на этот раз от него ни слова. Его жесткие уста не тронет даже тень улыбки. Только размеренные протяжные хрипы и ровно прицеленный мужественный взгляд, устремленный куда-то ввысь, говорят о том, что он жив. Взгляд, которого она никогда прежде у него не замечала.

Не трогай его. Не нарушай эту собранность, эту экономно

истрачиваемую энергию, что пытается найти, нащупать равновесие, гармонию тела и души, но найдет ли? Да, перед тобой жизнь человеческая, жизнь, что из последних сил отстаивает себя...

Теперь Даринке будет позволено ночевать возле него в палате, в углу на стульях. Так пройдет ночь, вторая, и третья настанет, и все будет стоять возле него устройство под названием капельница, устройство, в котором Даринке видится что-то зловещее и в то же время сулящее надежду. Для нее перестало существовать все, что осталось где-то за пределами палаты, свет сошелся для нее теперь на нем, бесконечно родном. Здесь, уставшая, она передремлет на кулаке, вскакивая на каждый стон, а тут вскочила, когда было уже, пожалуй, за полночь и увидела, как украдкой приближается к кровати Андрея тот худющий, заросший, аж страшный Кибернетик... Подошел, еще раз оглянулся по сторонам и вдруг опустился возле кровати на колени, всматриваясь пристально Андрею в лицо, прислушиваясь к его размеренным хрипам, несдающимся, словно они могли ему поведать, приоткрыть нечто самое важное из всего, что есть и что будет.

— Вы так мужественно держитесь, — слышит Даринка полусшепот Кибернетика, обращенный к Андрею. — А меня завтра уложат на стол под общий наркоз... Мне страшно. Что, если не проснусь? Научите, где силы взять? Чем дух укрепить? Вы же так боретесь, это просто героизм... Я преклоняюсь перед вами...

— Не трогайте его, не беспокойте, — стала рядом с Кибернетиком Дарина. — Ему и так тяжело...

Кибернетик покорно поднялся, угрюмо поплелся к своей постели.

А взгляд Андрея вроде ожил, и когда Даринка, боясь зацепить капельницу, подсела к нему на краешек постели и, наклонясь, дотронулась до руки мужа, глаза его ожили еще больше, в них затеплился свет жизни, только эта жизнь приняла теперь вид слезы: чистой, большой. Слеза сорвалась и покатилась по щеке... Не в состоянии смахнуть ее, Механизатор чуть заметно шевельнул головой и долго, пристально смотрел на свою Даринку. Потом сквозь хрипы, все такие же протяжные, громкие, она уловила, скорее угадала, чуть слышное:

— Живите дружно.

И обмерла от этих слов, похожих на завещание.

Ночью под кронами лип стоял грузовик, прибывший из дальних полей. Несколько человек, по виду механизаторов, в кузове накрывали брезентом гроб, сделанный в колхозной мастерской, — рядом со взрослыми хлопотал и малыш, хлопотал молча, деловито.

— Теперь ты старший, Сережа, — глухо обратился один из мужчин к малышу. — Будешь, как отец... Вот кто по-человечески жил.

Укрыли и только тронулись, как из-под колес машины шумно,

стремительно выпорхнули те дикие утята, что прижились здесь, — взметнулись и, рассекая воздух, скрылись над верхушками лип.

В скорбном молчании выехали люди за город, вскоре им навстречу повеяло ветром полевым, донесшим запах придорожных цветущих акаций. Парнишка жался в углу кузова возле матери. Она прикрыла его платком, уже вдовьим, положила руку на плечо. Отныне малый будет хозяином в доме, в доме Дарины-вдовы. Сам напросился ехать, а теперь сидел, понурясь по-взрослому, будто и не веря в то, что произошло и что происходит.

ЧЕРНЫЙ ЯР

Была еще ночь, когда его разбудил телефонный звонок. Аппарат всегда стоял у кровати. И вот в такую рань подал голос, позвал настойчиво. Петро Демьянович взял трубку и, включив торшер, стал слушать, бросая изредка реплики туда, откуда звонили.

Жена тоже проснулась, ее уже давно перестали удивлять эти ночные звонки. Что поделаешь, такая у него должность. Если бы и небо где-нибудь проломилось, то, наверное, и тогда бы позвали товарища Гайдамаку: принимай меры, латай... Однажды даже в новогоднюю ночь, когда другие с бокалами в руках слушали звон курантов, Петро Демьянович был поднят прямо из-за стола; где-то прорвало городской водопровод, надо было, все бросив, мчаться спасать положение. Поехал и трое суток отсутствовал...

Зосе Дмитриевне приятно, что ее Петро Демьянович нарасхват, что его уважают подчиненные. Ей нравится, когда иной раз слышит от них: «Демьянович наш — это же сила... Сегодня он правая рука у мэра, а завтра...» — и палец возводится вверх... В такие минуты у Зоси Дмитриевны сразу улучшалось настроение.

А теперь вот из телефонного разговора мужа с кем-то становится ясно ей, что снова какие-то неполадки у Черного Яра, на коронном сооружении Петра Демьяновича. Жену охватывает тревога.

— Только без паники, — вразумляет кого-то в трубку хозяин. — Отправляйтесь на объект! Я тоже скоро буду...

То, что он называет объектом, как раз и есть Черный Яр, тот столкчатый Яр, на который люди Петра Демьяновича в свое время повели наступление земснарядами. Сооружение это Зося Дмитриевна привыкла считать самым монументальным творением мужа, некоторым же другим оно представляется попросту кабинетной выдумкой, непродуманностью, даже показухой, и за нее, мол, будущее спросит.

А каких усилий стоило «пробить» проект, довести до утверждения и реализации! Зося Дмитриевна иной раз этому тоже способствовала, при случае улеживала кого надлежит своими обворожительными

улыбками... Одним словом, запруда возведена, массивное тело ее пролегло через Яр, а в верхнюю его часть кирпичные заводы гонят и гонят пульпу, чтобы способом гидронамыва заполнить отсеченный сектор Яра, чтобы твердь появилась на месте прежних овражистых балок, с извечной мрачностью чащ, где еще в допотопные времена князя охотились на волков и вепрей.

После гидронамывных работ Яр, собственно, перестанет существовать, овраг исчезнет, а на вновь образованной земляной подушке со временем будет распланирован парк с искусственным прудом, появятся аттракционы и, наконец, поднимется к небу гигантское чертовое колесо — реализуется, таким образом, давнишний замысел Петра Демьяновича.

Сколько нервов уже вымотал из него этот Яр. То ли в самом проекте допущены были какие-то просчеты, то ли работы были начаты в недобрый час, не под тем знаком зодиака...

Хозяин, цветущий мужчина с чаплинскими темными усами, в красивой меховой шапке, готовый к выходу, остановился на пороге: — Я поехал.

Приветливый взмах рукой на прощание, после чего Петро Демьянович сразу становится строже, и его элегантная фигура в коротком демисезонном пальто и ярком кашне исчезает за дверью.

У подъезда Гайдамаку уже ждала служебная машина. Прежде чем сесть, он бросил взгляд за реку, за острова: горизонт там заметно светлел, в небе крупным алмазом блестя утренняя звезда. Такая большая, с острыми гранями, точно обломок какого-то небесного тела.

— Мы с тобой сегодня ранние птицы, — деланно бодрым голосом сказал Петро Демьянович, усаживаясь рядом с шофером, и велел: — К Черному.

— Как поедem?

— По низовой давай, то есть нижней дорогой.

Водитель, длинношей пижон с рыжими бакенбардами, попытался было завести разговор о вчерашнем хоккее, но Петро Демьянович, хотя и был рьяным болельщиком, на этот раз отмахнулся: не до хоккея сегодня, Черный Яр — вот болячка, которую он сейчас полностью поглощен.

С низовой дороги объект виден как на ладони. На склонах гор, изрытых донизу оврагами, поперек одного, самого большого, урочища выделяется мощная, намытая земснарядами плотина. Это и есть воплощенный замысел Гайдамаки. Запруда намывалась не один год, работы в верховьях Яра ведутся еще и сейчас, правда, с горем пополам. В том месте, где со временем должны появиться аттракционы и чертовое колесо среди парка, горожане видят пока что яму, котлован, в котором на сегодняшний день собралось, может, сотни тысяч тонн тяжелой болотистой воды, вернее, пульпы, накачиваемой из соседних кирпичных заводов. Мощные насосы должны все время откачивать

излишек вод, сбрасывать их в дренажные канавы, однако из-за этих вечных неувязок с техникой... Порой прямо отчаяние берет. То ли вправду в недобрый час взялся ты состязаться с Черным Ярм, то ли место такое заклятое, каким считали его когда-то старые люди?..

Петро Демьянович вырос у этого Яра. В древние времена Черный Яр, ясное дело, был населен ведьмами и ведьмаками, всякими лешими и местными демонами, которые справляли там в темнейшие купальские ночи свои шабаши. Маленький Петрик в такие ночи, одолевая страх, тоже бегал в Яр с ватагой слободских мальчишек — их так и подмывало поглядеть, что же творится в самой глубине урочища в пору наипугливейшую — полуночную, колдовскую... В темноте можно было увидеть живых светлячков и взять их на ладонь; местами старые буреломины светились своими гнилушками, а у кого фантазия побогаче, тот мог даже разглядеть, как среди перепутанных ветвей шастают привидения с зелеными глазами, существа, похожие на марсиан, — а может, то были как раз те самые ведьмаки и их распатланые бессмертные подружки?..

Так было. А теперь вот, когда ты сделал все, чтобы переименовать этот Яр, чтобы, поразогнав всех леших, на рукотворной тверди устроить культурный уголок отдыха трудящихся, разве ж не обидно, что даже близкие тебе люди порой встречают твою инициативу с холодностью и непониманием. Родной отец не принимает твоего сооружения, это же факт. Выйдя на пенсию, старик поскукал немного дома в одиночестве, а потом попросился сторожем в депо. Живет в своем старозаветном домишке, прилепившемся на косогоре над Ярм, в свободное время плотничает понемногу. Петро Демьянович, как и положено сыну, иногда навещает старика, но, к взаимному огорчению, всякий раз у них возникает полемика относительно запруды, которая, точно полоса отчуждения, пролегла между ними...

Однажды отец в присутствии родни рассказал за ужином, что мать, уже будучи неизлечимо больной, лежа целыми днями на веранде, с горечью пожаловалась, что после сооружения твоей, мол, плотины, заслонившей клочок неба в конце Яра, солнце для низовых людей стало заходить на какое-то время раньше, световой день уменьшился для них и для мамы тоже! И вряд ли мама хотела своей слабой жалобой укорить сына, но из отцовых уст это подавалось именно как упрек, как грех тяжкий, непростительный... Глубоко задетый услышанным, с грузом вины на душе Петро Демьянович потом самолично, с хронометром в руке, проверил жалобу покойной матери, и оказалось, что она говорила правду: солнце после возведения запруды, закрывшей просвет в овраге, исчезало раньше обычного, и хотя речь шла о мизерной утрате света, о каких-то мгновениях, но факт оставался фактом... Только вряд ли это может служить основанием, чтобы вам,

тату, при посторонних, да еще и со ссылкой на нашу мамусю, нападать на то, пожалуй, самое стоящее, что ваш сын в жизни создал! Допустим, отец не может смириться с потерей своего допотопного ландшафта, но ведь и сестра Полина Демьяновна, школьная учительница, с ним заодно, правда, это в ее духе — всякий раз в спорах на тему старозаветности она оказывается по ту сторону баррикад...

— Энергию, Петро, твою признаю, — сказала недавно, — но как ты мог пренебречь мнением жителей?.. Тех, кто живет вблизи оврага?.. У кого над головой благодаря твоей затее миллионы тонн грязищи нависли? А твое будущее чертово колесо — для кого оно?

— Для людей!

— Для каких?

— Для реально существующих.

— Других забот нет! Иной раз кажется, брат, будто ты о каких-то абстрактных людях заботишься... И за теми абстракциями живых нас не видишь...

Вот такое приходится выслушивать. И от кого? От родни!

Их только послушай! Никто не смеет укорять его, что он что-то там забыл, зачерствел, забюрократился. Конечно, другими делами живешь, но разве не откликается в тебе порой и то, далекое, ушедшее? Были же и купальские ночи с их радостными огнями, и мальчишеская беготня до усталости в темных чашах Черного Яра, и первый поцелуй был, ожегший тебя, мальчишку, тогда на самом дне оврага, у родничка... Давно нет того родничка. Еще при прежних хозяевах города шерстью была забита горловина родничка, чтобы не заболочивало нижнюю улицу и не подтапливало трамвайное депо. Родничков нет, а в душе-то они остались? Но только не то время, чтобы жить родничками, тешиться отшумевшим... Вон собор высится на горе, сама гармония, грациозность, будто сотканный из воздуха и утреннего света, и, правду сказать, рядом с ним твое пролегшее через Яр сооружение заметно проигрывает, но и в нем можно найти нечто могучее, энтэровское, особенно если смотреть непредвзято.

Как все с боем дается! Демагоги не перевелись, каждому рта не закроешь. Товарищ отца, мастер из трамвайного депо по фамилии Скакун, на каждом заседании исполкома поднимает «проблему Черного Яра», так он это именует. Правда, люди уже привыкли к этому деповскому Цицерону. Стоит лишь Скакуну поднять руку для слова — сразу оживление в зале. Некоторые заранее втягивают голову в плечи, другие же, напротив, смакуют:

— Ну, этот задаст жару...

И надо признать, что у него иной раз прямо-таки с перцем получается! Выискивает какие-то допотопные выражения, однажды, обращаясь к Гайдамаке, библейское словечко «возмездие» приплел, вызвав веселый шумок в зале. Если бы воля Петра Демьяновича, сразу ставил бы на место таких языкастых. Уже и регламент исчерпан, а он

все про Черный Яр толкует — любимого конька оседлал: почему проект не был вынесен на обсуждение самих горожан, да и вообще ненужная затея, стоило ли огород городить, а поскольку уж случилось, то куда технадзор смотрит, — ему, Скакуну, видите ли, кажется, что сваи, загнанные в тело запруды, не совсем качественные... Типичный перестраховщик, а приходится терпеть, выслушивать, пока он свою пульпу словесную гонит...

Впрочем, такие стрессы не дают плесенью покрыться. Эпоха требует работать в три силы, жизнь подгоняет, диктует свой темп. Хорошо, что жена это понимает. После той новогодней аварии трое суток дома не ночевал, а когда вернулся, в грязи до ушей, она встретила его восторженным возгласом:

— О мой герой! Осунулся, исхудал, а словно бы даже помолодел...

Вспомнив ее взволнованность, Петр Демьянович невольно сдержал усмешку, не хотелось, чтобы ее заметил водитель. Перед светофором пришлось переждать, пока проползет трамвай. В дверях вагона Гайдамака увидел своего упорнейшего оппонента, того старого Скакуна, в шапке ушастой, с авоськой в руке. Лицо бабье, глаза слезятся, однако Гайдамаку и на расстоянии узнал. Не удержал и тут язык, докинул под скрежет трамвая:

— К запруде своей, Петро?.. Воду носить решетом?

Задело Петра Демьяновича утреннее его приветствие, особенно это несуразное «воду решетом». Будто не для них, а для кого-то в лепешку прибавляешься, будто и в самом деле для каких-то абстрактных людей.

Казалось, и пустяк, однако после того похода брошенного «воду решетом» Петро Демьянович обнаружил вдруг в себе признаки беспокойства, ощутил залегшую в душе тревожность. Гайдамака и до этого иногда чувствовал, как порой нарушается некая внутренняя стабильность, как червь сомнения нет-нет и шевельнется где-то там, в глубине подсознания: а не зря ли потрачены усилия? Была ли в этом сооружении крайняя нужда? Никто, даже жена не догадывается, что бывают минуты, когда он, проснувшись ночью, принимается взвешивать все «за» и «против»... Так что же, лучше было бы вообще не трогать Черный Яр? Пусть бы и дальше превращали его в мусорник, в свалку? Когда-то ведь и собора на горе не было, но ведь потом появился, сразу изменив весь пейзаж. А сейчас разве остановилось течение времени? Разве не ставит перед человеком свои требования прогресс? Рано или поздно бульдозер добрался бы все же до Черного Яра. Предположим, ты бы на каком-то этапе и заколебался? Так разве это изменило бы дело? Сооружение чем дальше, тем меньше зависит от тебя, от твоей воли, существует как бы само по себе. Ведь столько уже задействовано (слово-то какое!) людей и механизмов, столько вложено средств!.. Где-то он читал, как фантастические чудища-

роботы, взбунтовавшись, выходят из-под контроля человека,— не оказаться бы тебе в такой ситуации. Смотри, чтобы твое творение да не выбросило тебя же из седла...

Конечно, нелегко приходится, но кому теперь легко? Порою что-то совсем непредвиденное возникает, вносит свои коррективы... Вот и помпы нужны бы помощнее, а их нет, и дренажная система оказалась не совсем надежной, да еще технадзор стал то и дело цепляться, только успевай объяснения давать... Петро Демьянович вдруг ловит себя на мысли, что хорошо было бы, если б там на этот раз обошлось без него,— впервые мелькнуло желание избежать встречи со своим Асуаном (шутливое выражение близких). Но водитель гонит, и светофоры, как нарочно, везде без задержки дают зеленый свет...

А какое чудесное будет утро! И в такую свежую мартовскую рань, когда ноздреватый лед на реке уже гулко и весело потрескивает, а на островах по-весеннему алеют красноталы, ты должен стремглав мчаться туда, где ждут тебя одни неприятности, служебные хлопоты, где придется снова распутывать конфликты, давать кому-то нагоняи, вновь и вновь мирить своих коммунальщиков в их бесконечных тяжбах с кирпичными заводами...

Миновав приземистое, круглое, как пантеон, здание трамвайного депо, куда еще мальчонкой бегал встречать отца после смены, Петро Демьянович ощутил знакомое потепление на душе — не посторонний же, и его трудовой стаж начинался ведь отсюда. Велел водителю остановиться у газетного киоска на древней площади, замощенной не на его памяти,— сколько Петро Демьянович себя помнит, мостовая уже была. Отсюда, с этой точки, его сооружение просматривалось наиболее полно. Правда, прежде всего бросались в глаза легкие златоверхие ансамбли на горе, которые будто зависли в небе среди утренних облаков, рядом с ними резанула взгляд так называемая «тумба» — мрачное бетонное сооружение эпохи увлечения кубизмом, а чуть правее от нее по каньону протянулся, сужаясь кверху, сам Черный Яр, который был там, у своих истоков, будто заткнут серым щитом огромной дамбы-запруды. Да ведь каким щитом! Ну и пусть, что отсек он ломоть неба у тех, кто внизу, зато со временем его оценят, потому что скажется он на всем благоустройстве, особенно же когда над высотной запрудой зазеленеет парк, твои будущие сады Семiramиды! Объект уже не спит, даже отсюда, снизу, видны совсем маленькие фигурки людей, снующих по верху дамбы; и одно их присутствие там приносит Петру Демьяновичу внутреннее успокоение: если народ на месте, считай, ничего угрожающего. Весенние воды где-то просачиваются в теле плотины, она слезится немного, но ведь такое было и прошлой весной, и ничего, обошлось...

Дышалось по-весеннему, по-мартовски легко. К ларьку на коляске

подъехал инвалид с лицом в шрамах, он, видимо, не узнал товарища Гайдамаку, а может, и совсем не знал его, может, принял за кого-нибудь из ранних туристов, они всегда появляются тут поодиночке и группами, чтобы отсюда, из нижнего города, любоваться архитектурным ансамблем на горе, ловить на пленку его несравненную красоту.

— Вот это он и есть, Черный Яр, — сказал инвалид, полагая, видимо, что Петру Демьяновичу нужны пояснения. — Когда-то гады фашистские людей там расстреливали...

— Я знаю, — бросил досадливо в ответ Гайдамака.

Кому-кому, а ему не нужно это объяснять: трагедию времен оккупации, связанную с Черным Яром, он знал досконально, хотя сам в пору тех событий был еще мальчонкой.

— Какие ужасы там творились, а теперь...

— Что «теперь»? — вырвалось строго у Гайдамаки.

— Показуха! Таких размеров грязеотстойник устроить нам над головой, — раздраженным тоном сказал инвалид, кивнув в сторону Черного Яра, и закурил сигарету.

— На Яружную! — сердито велел Гайдамака водителю.

Улочка Яружная, хоть и тупиковая, хоть и не ведет никуда, кроме Яра, Гайдамаке милее всех, потому что это и есть она, улочка его детства. Извилистая, еще и поныне не замощенная (никак руки не доходят), она круто тянется в ущелье Яра, между почерневшими от времени домишками, между уютными двориками рабочего предместья, где издавна селились трамвайщики, железнодорожники, рыбаки и иной трудовой люд. Патриархальные эти домики с резными крылечками, с теснотой ветхих сараюшек и кирпичных погребов среди вишневых деревьев, с потемневшими голубятнями — все это будто бы только и ждало в смирении, что вот придут, оценят, снесут, переселив хозяев в иные места, в те зареченские, выросшие на намывных песках микрорайоны.

Кроме Петра Демьяновича, не многим было известно, что к тому идет, так же как мало кому выпало знать историю этой Яружной, где в тихих домиках устраивались когда-то явки революционеров, а в одном из подвалов существовала даже подпольная типография — об этом еще в детстве слышал маленький Петрик Гайдамака, и рассказы эти всякий раз наполняли его душу гордостью. Что ни говорите, а приятно осознавать себя законной ветвью этой рабочей слободки, которая тут все бури выстояла, на всех стужах не растеряла теплоту человеческих связей. Собственно, это единственное место на свете, куда Петра Гайдамаку время от времени влекло. Особенно манило его сюда, пока была жива мать, ибо только тут после всех перегрузок и стрессов, служебных неурядиц он мог услышать слова

истинного сочувствия, ибо только тут, взрослого, называли его именем уменьшительным, ласковым, дарили ему слова беспредельной нежности, за которую никогда не требовалось отплаты.

Неужели и маме горько было видеть, как менялся Яр, неужели и ей не по душе пришлось, когда та стена поперек Яра стала расти, пока и небо не заслонила? Но кто мог, проектируя, предвидеть такую мелочь?..

У Петра Демьяновича было намерение, доехав до отцова подворья, оставить там «Волгу» и дальше пешком идти по тропинке, выходящей по холмам, — это был привычный его маршрут, которым он не раз пользовался, добираясь по знакомым крутизнам до своего сооружения. Однако сегодня сложилось по-иному. Навстречу ему сверху по всем рытвинам Яружной гроыхала вода. Всюду было скользко и топко, колеса «Волги» буксовали, а потом и вовсе пришлось остановиться, поскольку узкую улочку наглухо перегородила красная пожарная машина; за нею торчала другая, такая же ярко-красная, огромная, и всюду в боковые дворы тянулись шланги — один из шлангов через вишняки змеился прямо во двор к отцу... Однако же ничто нигде не горело.

Оказалось, затапливает людям подвалы, у некоторых уже и в хатах вода, откачивают беспрерывно, а она, точно из-под земли, снова появляется... Один из пожарников, стоя у машины, сокрушенно разводил руками:

— Не пойдем, откуда.

— Ничего удивительного, — нахмурился Петро Демьянович и, стараясь говорить как можно спокойнее, добавил: — Весенние воды, это же ясно...

— Если бы только весенние, — было высказано сомнение кем-то из-за машины.

Петро Демьянович невольно вздрогнул: а если и правда не только весенние? Если и те, верхние, каким-то образом проникают из твоего грандиозного отстойника?..

Казалось, все было предусмотрено. Яр перегораживают толстой дамбой-плотиной. Потом гонят пульпу, создают подушку, излишек вод сбрасывают в дренажные каналы... Ил, глина быстро затвердевают, укладываются, и дальше все идет чин чинном... Так думалось. «Однако расхваленная проектантами подушка Черного Яра, достаточно ли она надежна? — впервые мелькнула тревожная мысль. — Не слишком ли набухла водами, теми, что от кирпичных заводов, да еще весенними в придачу?..»

Надо быстрее наверх, на плотину: что там происходит? К отцу во двор не зашел — старику не до тебя сейчас, так же, как и тебе не до него. Хмурый, обвешанный венками лука, в сапогах рыбацких с голенищами выше колен, отец как раз выносил пожитки из погреба.

На приветствие почти бегущего сына едва кивнул через забор и стал демонстративно развешивать лук на столбах голубятни, делал это, как перед половодьем, хотя полая вода сюда никогда не доходила.

— Что за переселение, батя? — наигранно бодро окликнул Гайдамака отца. — Не пугайте людей...

— Не я пугаю, а вода, — выпрямился старик. — Сегодня погреб заливает, а завтра... Это же вода!

В настроении далеко не лучшим Гайдамака-младший устремился вперед, поднимаясь по крутому извозу, который вскоре перешел в еще более крутую тропу. Оскользываясь и хватаясь за кусты, он все же шаг за шагом взбирался вверх, в сторону сооружения. Здешнее подгорье так и осталось необжитым, лишь на лысых холмах правее Черного Яра белеет невысокими корпусами лечебница, заведение, основанное еще в дореволюционные времена. Петру Демьяновичу здесь каждый холм, каждый взгорок и терраса издавна знакомы, на одном пригорке, где когда-то мальчики любили играть в волейбол, виднеется толпа людей из больницы. Толпа, оживленно жестикулируя, похоже, что-то обсуждает, беспокойно показывая руками вверх, в сторону нависшей над Яром плотины. «Чего они там митингуют?» — неодобрительно подумал Петро Демьянович, взбираясь все выше.

По мере того как он пусть медленно, но приближался по крутому склону к своему сооружению, оно словно бы росло, обретало некую мощь, даже величавость. «Нет, все же не зря мы этот огород городили», — думалось ему, когда он время от времени поглядывал вверх на свое творение. Заглушая тревогу, души его касалось чувство победительное, честолюбивое.

Стежка оказалась капризной, только что поднималась по склону, а теперь ее повело вниз, в глубь оврага, где свалены кучи битых бутылок и разного рванья из синтетики, — его, видно, и огонь не берет. После этого стежка снова круто полезла по оттаявшей глине вверх, идти стало совсем скользко; иногда, чтобы не соскользнуть вниз на своих импортных, с каучуковой подошвой, он цепко хватается за кривые стволы одичавших деревьев, которые торчат кое-где по склону, далеко оголив крепкие корни и как бы из последних сил удерживая ими от оползня эту глинистую, набухшую водами почву. В одном месте, неподалеку от стежки, делает на полянке утреннюю зарядку лысый, жилистый, в спортивном костюме отставник Перегуда, давний знакомый Петра Демьяновича; после приседаний гимнаст подходит к ближайшему дереву, еще и возле него выполняет несколько силовых упражнений, с натугой отталкивая от себя облупленный, дуплистый ствол, точно хочет стронуть его с места.

— Обнимем деревья! — вместо приветствия прокричал он Гайдамаке девиз индийских йогов.

— Обнимем! — откликнулся на эту шутку и Гайдамака, а отставник продолжал отталкивать от себя обеими руками старое, упрямое дерево.

Уже совсем развиднелось, на зданиях верхнего города заиграло первыми лучами солнце; Петро Демьянович, разогретый ходьбой, обернулся. Солнце всходило за островами, властно выплывало из ивняков, поразив Петра Демьяновича своим величием, какой-то торжественной значимостью этих минут. Лик солнца, удивительное дело, всякий раз напоминал ему маму, круглолицую, даже и в горе улыбающуюся маму, которая была для него воплощением доброты, и ласки, и всего самого лучшего на свете. До сих пор он не может простить себе, что, несмотря на болезнь матери, он тогда по настоянию Зоси отправился в свой средиземноморский круиз. Когда мать здесь угасала, со дня на день ожидая его возвращения, до последнего вздоха надеясь еще раз увидеть его, он в это время, ничего не подозревая, разгуливал с фотоаппаратом по руинам Геркуланума и Помпеи, созерцал остатки городищ, где когда-то бурлила жизнь, а потом все исчезло, — он тогда пытался представить смятение античных людей, очутившихся в самом эпицентре катастрофы, где все они задохнулись под тучей вулканического пепла...

Внизу, по самому дну Черного Яра и дальше, были видны огромные кучи мусора, к которому санинспекция, пожалуй, не знает дороги. Петро Демьянович взял это себе на заметку. Взираясь все выше, он мерил глазами расстояние: много ли еще идти? Недоучел, что такой скользкой окажется оттаявшая тропа. Однако сооружение все-таки понемногу приближается, словно разбухает в размерах, заступая уже полнеба теми своими водопадами, грязными потоками, которые, поблескивая на солнце, всюду по телу крепостного вала так тревожно слезятся. Появилось сейчас в сооружении нечто зловещее, что-то крайне недоброе ощущалось в этом его нависании, и холодом повеяло оттого, что запруда, приближаясь, точно и впрямь разбухала перед ним своей тупой, огромной массой. Слово впервые разглядывая ее, он почувствовал вдруг мальчишеское дерзкое желание погрозить ей кулаком, вообразив себя на миг тем смельчаком, что стоял когда-то в городе на Неве перед Медным всадником и угрожал ему: «Ужо тебе!...» Не боюсь, мол, тебя, ведьма, хоть какая ты ни есть сила и мощь.

Где-то внизу пронзительно и непонятно вскрикнула сирена. Пожарная, что ли? Удивленный, он резко повернулся в ту сторону, к низовым людям, и в тот же миг над головой у него все сотряслось от грохота, гула сверхъестественного, от катаклизма столь сильного, неимоверного, что он ему даже не был страшен. Глянув вверх, он успел охватить взором, как сооружение его, словно при замедленной кино съемке, медленно оседает, расплзается, и вдруг уже черный водопад, Ниагара грязи, ила, пульпы и камня с сатанинским грохотом неудержимо ринулась вниз!

Все потеряло смысл. Все было неправдоподобно. Черные разъяренные лвы с ревом неслись ему навстречу.

Не успел испугаться, страх не завладел им. В исступлении гнева он даже рванулся вперед, раскинув руки, супротив той черной Ниагаре, которая, как ему казалось, не смеет его тронуть. Силой воли своей он будто намеревался ее остановить. Потоп гудел, приближался, крушил все на своем пути. Гайдамака успел услышать крики, стоны людей на холмах, еще успел глазом схватить, как отставник кинулся к дереву, вопя не своим голосом, и быстро, с обезьяньей ловкостью стал карабкаться меж ветвей вверх...

А сам он, очумевший, не чувствуя страха, хотел сейчас одного: чуда, которое мгновенно заступило бы, пересекло ревущей темной той силе путь. «Сам возводил, по твоей воле возникло... Возмездие тебе, возмездие...» Нечто подобное путалось обрывками мыслей в голове, а страх лишь тогда завладел им, когда неподалеку сверкнуло, взрывом сотрясло воздух, и пламень столбом ударил вверх — понял: снесло газовую подстанцию, вырвался газ, вспыхнул. Рев, грохот, молнии, деревья падают и с корнями летят прямо на него...

— Беги! Сметет! — взвизгнуло, долетело до него человеческое откуда-то с холма.

Он с гневом, с чувством стыда бросился бежать косогором куда-то вниз.

Сатанинский грохот приближается, вал мути катит по дну Яра яростным потоком, гонит палки, ящики, металлические бочки; ледяной грязью ударило Гайдамаке в лицо, сбilo с ног вырванным корневищем, меховую шапку его завертело. Подхваченный тяжелой грязью, Гайдамака обеими руками вцепился в корягу, она, по-оленьи рогатая, перевернувшись, вместе с ним погрузилась в мусть, в ледяной вал, потом, вынырнув, подняла и его с собой, вытолкнула, оглушенного, на поверхность, как бы только затем, чтобы Гайдамака еще раз глянул на этот белый свет.

Корягу бросало в бурунах туда-сюда, вверх-вниз, но он, барахтаясь, держался за корни с цепкостью утопающего, еще и сейчас не до конца осознавая, что произошло, какая сила швыряет его среди этого бурлящего неостановимого потока грязи. А в те мгновения, когда оказывался на поверхности, успевал сквозь рев уловить пронзительные крики людей на холмах, в которых ему чудилось что-то спасительное. Летучая холодная грязница несет его среди этого гвалта, крика, мутная тяжелая вода, взбунтовавшаяся пульпа неистово швыряет Гайдамаку куда-то вниз, бросает, как щепку, меж сокрушенных заборов, калиток, меж фонарных столбов с ошметками проводов, приближения которых он сейчас почему-то больше всего боялся. Металлической бочкой стукнуло его в плечо, обломком забора — в другое, еще чем-то оглушило так, что даже в глазах потемнело и свет для него исчез, свет не возвращался...

Долго еще будут жить в этом предместье предания, услышат их и дети, сейчас еще и не рожденные, будто о чем-то ирреальном, будто звучать для них жуткие рассказы о том, как миллионы тонн грязищи через разваленную плотину ринулись сверху вниз, сметая все на своем пути, ибо скорость грязепада была жуткая, снарядная... Будет рассказано, как мужественно спасали потерпевших команды военных, вертолетами снимали людей с крыш, а все-таки жертв не удалось избежать... Рассказывались не легенды, а чудовищная в своей невероятности правда, когда даже больные из лечебницы бросились с холмов к Черному Яру спасать погибающих, как с глазами, полными ужаса, выносили они на холмы малышку из детсада, трогательно кутая детей в свои жесткие больничные халаты, прижимая к груди насмерть перепуганных малышей...

...Когда Петро Демьянович очнулся, лежа навзничь на холме, первое, о чем он подумал, было: «Зачем я пришел в себя, ожил? Зачем спасли меня?..»

Они, его спасители, стояли над ним в мокрых, грязных халатах, все были крайне возбуждены, острыми взглядами следили за этим незнакомцем, выхваченным из потопа, удивляясь, верно, тому, что он оживает, некоторые, близко нагнувшись, всматривались в него, вряд ли веря в его воскресение. Какой-то из них, с беспредельной тоской в глазах, спросил:

— Суда боишься?

Нет, он не боится суда. Самое страшное уже произошло. Хотя ему и сейчас еще не верится, что все это происходило в реальности, происходило с ним, и что это он, кувыркаясь в грязевом потоке, летел в какие-то тартарары, погибал... Но за что же ему такая кара, то самое «возмездие»? Где отец? Успел ли спастись? Снизу откуда-то, словно сквозь толщу пухля, долетают сердитые голоса о техническом дилетантстве проекта, кто-то сообщает об опрокинутом трамвайном вагоне... Бред? О, если бы он мог сейчас погрузиться в мир бреда!

Сколько же времени прошло? Мгновение или вечность? Однако еще было утро, небо по-весеннему ясно голубело над ним, а ниже... Серость какая-то незнакомая, пустынная ударила в глаза. Садов нет, улочка исчезла, домики со стороны Яра поносило, стесало, в считанные минуты смело ураганом воды. Вся твоя страна детства лежит безмолвная, посеревшая, точно Помпея, под напластованием свежего ила.

Попытался шевельнуться, и тупая боль во всем побитом теле напомнила ему, что он жив.

— Боишься суда? — спросил, склонившись над Гайдамакой, еще один измученный, рыжебородый, спросил с искренним сочувствием в голосе.

Вышедший из небытия, он перевел взгляд на верхний город, на его ансамбли. Там все стояло на месте, кроме его, Гайдамаки, сооружения: в верховьях Яра, где была стена запруды, светилось небо. Светилось сквозь проломину ясно-голубое, точно в детстве, будто вторично подаренное матерью.

СОДЕРЖАНИЕ

Артеменко с плацдарма. Авторизованный перевод с украинского Изиды Новосельцевой	3
Гений в обмотках. Перевод с украинского — автора	13
Ночь мужества. Перевод с украинского — автора	25
Черный Яр. Авторизованный перевод с украинского Изиды Новосельцевой	35

Александр Терентьевич ГОНЧАР

ЧЕРНЫЙ ЯР

Редактор Е. Ф. Олейник

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 16.09.86. Подписано к печати 24.11.86. А 00764. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,04. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000 экз. Изд. № 2980. Заказ 3766. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

УСЛУГИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС

Сберегательные кассы предоставляют гражданам возможность надежно и выгодно хранить свои сбережения, совершать расчетно-кассовые операции и широкий круг других услуг.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

— принимают наличные деньги во вклады и выдают их по первому требованию вкладчиков. Получить вклад можно не только в сберегательной кассе, в которую он был внесен, но и в центральной сберегательной кассе. По сберегательной книжке, выданной сберегательной кассой данного района, в ряде республик и областей вкладчик может получить часть своего вклада до востребования, выигрышного и денежно-вещевого выигрышного в другой сберкассе этого же района. Пополнить вклад можно в любой сберкассе;

— производят зачисления на счета по вкладам перечисляемых предприятиями и организациями сумм из причитающихся трудящимся денежных доходов;

— переводят вклады из одних сберкасс в другие;

— производят по поручениям вкладчиков безналичные расчеты по платежам за квартиру, коммунальные и другие услуги;

— продают и покупают облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года;

— принимают на хранение облигации государственных займов;

— выплачивают выигрыши по облигациям государственных займов и лотерейным билетам;

— принимают от населения добровольные взносы в фонд помощи для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; в Советский фонд мира; на сооружение в г. Москве памятника Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.;

— выдают и оплачивают аккредитивы;

— выдают расчетные чеки на сумму от 200 до 10.000 рублей для расчетов населения с предприятиями государственной и кооперативной торговли за промышленные товары, стандартные дома, реализуемые лесоторговыми базами, а также за услуги, оказываемые предприятиями бытового обслуживания и общественного питания по предварительным заказам;

— выполняют ряд других операций.

Сберегательные кассы к вашим услугам.

ПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС СССР